Мои воспоминания. Часть вторая. Странствия

Сергей Михайлович Волконский

SHOUT
SHARE IT

Annotation

Русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуарист.

- Князь С. М. Волконский
  - Часть вторая

■

- ГЛАВА 1
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6
- ГЛАВА 7
- ГЛАВА 8

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Князь С. М. Волконский
Мои воспоминания

Часть вторая
Странствия

Странствия! Чувствуете ли, как в этом слове есть что-то внутренне необходимое? Это не выдумка человека, это в природе вещей. «Охота к перемене мест» не «весьма мучительное свойство». Это весьма естественное свойство. Перенесение своего «я», распространение своей пространственности — все живое к этому стремится. Животные завидуют птицам, а растения завидуют животным. Пригвожденное к земле, растение из единого стебля развивается в ветви, в листья, в цветы. Не будучи в состоянии сдвинуться сам, цветок ждет посещения крылатого насекомого и, в то время как оно язвит его сердцевину и выпивает его сок, обсыпает его своею пылью, чтобы несло ее к другому цветку. Цветок умирает на том месте, где родился, но, умирая, теряя цвет и запах, из свежести цветения переходя в сухое семя, он раскрывает свою семенницу, дает ветру рассыпать свое содержание, снабжает зернышко чешуйчатым крылом, опушает его пухом и отдает ветру, «чтоб ветер унес его вдаль…».

Все живое стремится изведать пространство. Все живое движется и хочет передвигаться: идти, бежать, скакать, прыгать, ползать, летать. Все живое знает, что значит «вверх» и «вниз», «вперед» и «назад», «вправо» и «влево»; все знает, что значит скорость и медленность, сила и слабость, легкость и тяжесть. И все знает разницу между «откуда» и «куда».

Изменение пространственных условий — одна из радостей человеческих. Лестница, галерея, мост, качели — все это игрушки не одних детей, но и взрослого человечества. Тут есть победа над пространством и победа над силой тяготения, которая тешит нас победностью своей. Почему крыша, колокольня, дерево с раннего детства оказывают на нас такую притягательную силу? Мы любим над кручей повисшую беседку; мы любим в море уходящий мол, в пучине сидящий основанием своим и светящимся фонарем над ярыми брызгами смеющийся маяк. Мы любим насыпи, мы любим подземные ходы. Мы любим смотреть природу в зеркале, когда то, что налево, становится направо, и наоборот, и мы любим переворачивать бинокль другим концом, чтобы то, что маленькое, было еще меньше, и то, что далеко, было еще дальше. Да, мы любим играть пространством, и странствие есть одна из этих игр.

А способы передвижения! Это новая игра прибавляется к игре. Пешком, верхом, на колесах, на полозьях, по воде, по воздуху. И в каждом из способов сколько еще разнообразия! И ко

всем этим победам над пространством прибавляется победа над временем: возможно больше первого, возможно меньше второго — вот к чему тянет человека ненасытность его. Вихри и потоки — вот что он хочет создать, вот кого хочет обогнать. Обогнать, оставить позади себя, и с наименьшей затратой собственной силы: наибольший покой в наибольшем волнении, наибольшая недвижность в наибольшем движении, наибольшая безопасность в наибольшей опасности. Перед зеркальным окном ресторанного вагона сидеть, завтракать не торопясь, в то время как все кругом торопится, когда по сторонам «версты летят», — какое упоение в сочетании контрастов! Обмануть природу, ее же законом победить ее закон, — мчаться, вместо того чтобы стоять; лететь, вместо того чтобы падать; противопоставить горизонталь вертикали и вертикаль — горизонтали. Да, странствие есть одно из проявлений шаловливости человеческой.

Странствие есть память. Это прошлое в настоящем. Странствие, воспоминание о нем заселяет наши пустые мгновения; никакая пустыня не пуста, когда есть что вспомянуть. А никакая память с такой свежестью не сохраняется, как память о странствии. Не изменяется, — и в этом самая ценность воспоминаний, — не меняется наше к нему отношение: мы вспоминаем то, что было, и вспоминаем с тем же чувством, как когда оно было. Всякое свое странствие человек с собой несет, в себе несет, потому что каждое меняет его, после каждого он уже не тот; каждое новое странствие есть новое богатство, и никогда к этому воспоминанию не примешивается сожаление.

Странствие — ответ на притягательную силу далеких призывов. Это жажда нового, иного. Ностальгия по другому. «Где же лучше? Где нас нет». Странствие — осуществляемость мечты, утоляемость тоски.

> И снится ей все, что в пустыне далекой,
> В том крае, где солнца восход,
> Одна и грустна, на утесе горючем
> Прекрасная пальма растет.

Если бы она могла сдвинуться, сосна бы двинулась туда — «в тот край, где солнца восход».

Но не всегда утоляется тоска; утоление распаляет жажду. Чем больше знаем, тем больше хочется знать; чем больше видим, тем больше хочется видеть. В достижении томимся по исканию, в наслаждении вздыхаем, и сама пресыщенность полна желания. Всегда зовет к себе обратное тому, чего достиг. И не одни сосны на голых вершинах грезят о пальмах в пустынях далеких, но и

пальмы грезят о морозной пыли и о небесных заревах, ложащихся на сталактиты обындевелых сосен…

Вот почему всегда странствовал и будет странствовать человек; вот почему, пока жив, топчет землю пятою своей до тех пор, пока, как Гораций, «устав от моря и путей», не опочиет под землей.

ГЛАВА 1
Италия — Альпы — Итальянские города — Флоренция — Итальянская вилла — Карло Плачи

Переезжали ли вы когда-нибудь итальянскую границу? Если переезжали, то вы знаете этот трепет при приближении к заветному пределу; вам знакома эта глубина ощущений, воспоминаний, ожиданий, до краев, через край наполняющих ваше существо; вы испытали этот восторг, зажигающийся от всякого пустяка, — от первой итальянской надписи, от первого звука итальянской речи, от итальянских таможенных служителей, которые, растравляя нетерпение, тем сильнее поднимают трепет ожидания. И наконец — вход!

Грязный буфет, длинные «фиаски» с вином, зеленая горгонцола и желтый стракино, скверный кофе в толстом фарфоре, твердый крученый хлеб, скверные длинные сигары с соломинкой. Да, и все это вызывает гимн в вашей душе.

Одни названия пограничные — разве не призывная труба? Понтэбба! Киассо! Беллинцона! Как врата света и тепла, встают они на холодных альпийских вершинах. Они зовут, и, дерзкими мостами пролетая над пропастями, проползая в черные норы туннелей, поезд вьется, стучит, дрожит, пыхтит, грохочет. Сквозь туман и облака прорезаются стрельчатые ели; сквозь грохот поезда слышны водопады, шум ручьев — борьба воды и камня. И вся вода — обратная, навстречу нам; мы в гору, а вода туда, откуда едем мы. Холодно, хмуро, сурово кругом…

Но вот мгновенная ночь главного большого туннеля. Вспоминаю, как в детстве мне говорили: «Открой рот и закрой глаза»… Вдруг во мраке проступают очертания каменных стен — близок выход. Все светлее становится; грохот реже; стены расступаются — мы выскочили в свет. Приветливо, мягко, жарко кругом. Ручьи-попутчики сбегают вперегонку с нами. Раскрыв все клапаны, без пару, на одном тормозе поезд катится в равнину. Скалистое полукружие развертывается все шире и дальше под лаской солнечных лучей. Поясами спускается растительность, своенравная в верхах, подчиненная в низинах. Вокруг нас крепкий дуб пригибается и корчится — ему не нравится на южной стороне. Высокий лавр гордится и приветствует — он дома здесь, на этих склонах; ползет и льнет к его стволу любовный плющ, вокруг пня прорезают землю светлый крокус и темная фиалка, с

ветвей висит взобравшийся на него ползучий шиповник; вся южная цепкость лесная брызжет, колышется, цветет, благоухает.

Ниже нас далеко расстилается серебристое море дымчатой оливы, и, черные, стрельчатые, выскакивают из него кипарисы: как сторожевые линии, спускаются со склонов, зорко стоят над полдневно дремлющей равниной. А дальше, еще ниже, — разделанная природа: сетчатая картина полей, перерезанных водяными нитями каналов, перекрещивающимися рядами плодовых деревьев, висячими гирляндами с дерева на дерево переброшенного винограда, — работа людских поколений. Белые, ослепительно пыльные дороги расходятся, встречаются, теряются вдали. Там пыльный ослик в пыльном облаке везет запыленного мальчишку. Там серый бык, увязнувший в канаве, поднимает свои гордые рога и слюняво жующую морду. Кукурузовое поле шелестит сухими вислыми листами… Вот сводчатый мост через реку; у моста, прикорчившись на знойных камнях, по обеим сторонам воды пестрая толпа женщин полощет, мылит и стирает белье. На минуту обдает нас крикливой трескотней голосов… Поезд пролетел… Но каждый день из года в год, из века в век на этом самом месте и в этот самый час стоит с берега на берег трескотня крикливых голосов; и ветер уносит их сплетни, как река уносит их грязное мыло…

Поезд мчится — ему весело. Клочья дыма, оторвавшись, стелются, входят в кукурузовое поле, льнут к плодовым деревьям, пропадают в светлом жаре ослепительного дня… Вот свисток. Радостен свисток, когда радостно место, к которому подъезжаешь. Уже давно внизу, в долине, виднелся купол, уже давно манила колокольня. Вот он наконец, вот первый итальянский город.

Я в первый раз приехал в Италию в 1872 году осенью. Мне было двенадцать лет; мы провели зиму во Флоренции. Моя мать, до шестнадцати лет жившая в Италии, знала итальянское искусство как редко кто. Под ее руководством я с этих ранних лет ощутил всю завлекающую прелесть итальянского прошлого. Но не одно прошлое сообщает Италии ее чары, а то, что это прошлое так сливается с настоящею действительностью. Неувядающая юность прошлого — вот в чем прелесть Италии. И тогда я это уже чувствовал так сильно и так больно… Когда мы уезжали из Флоренции, в карете, везшей нас на вокзал, не было места, меня посадили на козла, и я рад был, что таким образом я остался один, что меня никто из сидящих внутри не видит, ибо я заливался горькими слезами…

Впоследствии Италия стала для меня духовной потребностью. Я изъездил большие и маленькие города. В особенности

маленькие любил я: Орвиетто, Перуджиа, Ассизи, Ареццо, Сиена, Сан-Джемениано, Парма, Пиаченца, Мантуя, Бергамо, Равенна, Римини, Фаенца, Фолиньо, Урбино… И сколько еще! И я не называл юга, и я не называл Сицилию… Каждый городок со своим собственным лицом, единственным, историей созданным, людьми не повторенным. И вместе с тем на всех общая печать: каменная давность, вековая нетронутость строгих очертаний, нерушимая повторность гражданских обрядов, торговых обычаев. И все это неизменное залито переменчивым колыханием то занятой, то праздной толпы. То шум и говор утреннего рынка: под красными, зелеными, синими зонтами яркие пятна моркови, апельсинов, тыквы, томатов, жаровни с хрустящими каштанами, грозди винограда, грохот таратаек, ржание мулов и ослов, ослепительное солнце, запах чеснока, жареного масла и цветов… То вечерняя праздность, праздничное слоняние, на площади военный оркестр, битком набитые кофейни, столики на тротуарах, на мостовой, беззаботность и молодость под сенью старых дворцов, под хмурым взглядом бронзовых всадников и мраморных львов, при живом плеске старого фонтана. И только над всей этой беззаботностью стародавний звон часов на ратуше, Palazzo Communale, роняет свое напоминание о том, что и над этим часом крыло смерти, как было прежде, как будет всегда. И рядом с этой осужденной на смерть повседневностью непрестанное присутствие глубокого, богатого прошлого, которое тут же, около вас, сзади, впереди, вокруг вас живет, глядит неумирающим оком красоты… Да, Италия стала для меня духовной потребностью. Она сделалась второй родиной. Сейчас, может быть, она единственная.

Из всех городов Италии Флоренция осталась любимою. Даже когда не было времени пожить в ней, я пригадывал так, чтобы остановиться проездом хоть на несколько часов, приехать утром, выехать с последним вечерним поездом. О, прелесть этих остановок! С какой жадностью наполняешь эти часы, в особенности когда покидаешь Италию…

Оставляю вещи на вокзале, иду с вокзала пешком. Легко, весело идти в хорошую погоду по чистым, гладким плитам флорентийской мостовой. Огибаю старушку Санта Мария Новелла, церковь с фресками Гирландайо; иду по шумливой виа Черретани: щелкают извозчичьи бичи. Заворачиваю вправо, в маленькую Рондинелли и ее продолжение, виа Торнабуони. Гостиная, не улица. Все, что нарядного, высыпало солнечным утром на прогулку, на закупки. Итальянки, англичанки, русские дамы. Неожиданные встречи, расспросы: откуда, надолго ли?.. Остановки перед окнами магазинов. Вот маленький павильон

фотографа Алинари, вот музыкальный магазин знаменитого миланского издателя Рикорди, вот ювелир Маркезини… Группы нарядных дам с той стороны улицы расходятся по сторонам, отягченные охапками гвоздик, мимоз, розанов, нарциссов и миндального цвета. Они накупили все это на ступенях дворца Строцци: во всю длину своего гранитного фасада хмурый дворец опоясан венком цветов и папоротника — вдоль его фундамента цветочный рынок. И в пахучей прохладе вкруг влажных цветов сливается тосканский говор крестьянок-продавщиц и англосаксонская речь покупщиц. Они расходятся и с охапками своими останавливаются перед окнами фотографа Броджи. Тут вся Италия и в снимках и в книгах; какое развлечение читать одни заглавия прелестных английских книг в прелестных итальянских белых переплетах. И тут же рядом кондитерская Джакоза, не менее замечательная, чем все прочее. Заходим: весело, вкусно. Большое окно зеркального стекла, как стена огромного аквариума, выходит прямо на палаццо Строцци. Гранитный фасад хмурит бровь своей тяжелой двери, и бронзово щетинится с угла торчащий знаменитый его фонарь… Расходимся кто куда…

Иду завтракать. Есть тут же, за углом, в переулке подвальчик. Там обедают извозчики, рабочие, погонщики, носильщики, но там вкуснее любого ресторана; на большой плите тут же при вас все готовится — и фритто мисто, и ньоки на пармезане. Вкусна народная кухня на оливковом масле; сковороды шипят, и дразнящий запах поднимается под своды, обклеенные плакатами кинематографов… Здесь однажды завтракал с художником, хорошо известным в Германии, — Саша Шнейдером. Сперва рисовавший уродов, чудищ, он впоследствии перешел к изображению идеального человека по греческому типу. Он нарисовал мне те человеческие фигурки, которые в моей книге «Отклики театра». Сам маленький, неказистый, немного горбатый, он жил в образах античной красоты, и беседа его была насквозь прожжена страданием перед уродством людским, тем самым уродством, которое он когда-то с такой преимущественной любовью изображал…

Позавтракав, выхожу на ту же Торнабуони. В обеденный жар улицы пусты и тихи. Вхожу в переулки и тенистой прохладой хмурых дворцов прохожу на площадь, на дивную Пиацца делла Синьория. Каменная гладкая стена Старинного дворца (палаццо Веккио) поднимает зубцы свои и выдвигает с края карниза свисающую, в синее небо устремляющуюся башню. Направо «Лоджиа деи Ланци» высит три арки свои; под этим портиком бронзовый зеленый Персей Бенвенуто Челлини и целое

мраморное население воинов, героев, «Похищение сабинянки» работы Джиованни да Болонья и чудная группа Гектора с двумя женщинами работы Фети, — ваятель девятнадцатого столетия, удостоившийся места в этом святилище; в мягких складках мрамор спадает как вялая материя… Налево фонтан с некрасивым мраморным Нептуном работы Амманато, сего неудачного соперника Микеланджело. По поводу этого Нептуна народ сложил двустишие:

Ammanato, o Ammanato,
Quanto marmo tu hai guastato!
(Амманато, о Амманато,
сколько мрамору ты испортил!)

Как прелестен уличный юмор Италии! Никогда не унывает, никогда творчество его не прекращается. На фасаде Флорентийского собора, по обе стороны главной входной двери — две статуи обоих покровителей города: св. Репараты и св. Зиновия. Репарата держит в левой руке пальмовую ветвь, а правую вытянула ладонью кверху; лицо выражает скорбь. Зиновий держит в левой епископский посох, а правой благословляет, но не очень высоко, по-старчески, и рука ладонью вниз, и сам смотрит вниз. Когда было открытие фасада, кажется в 1885 году, то уже в тот же вечер по Флоренции ходил рассказ: св. Репарата говорит: «Я потеряла монету», — а св. Зиновий говорит: «Я ее не вижу…» Площадь, Пиацца делла Синьория, тиха и молчалива в этот полуденный час. На ступенях лежат в глубоком сне оборванцы-рабочие, и мрамор от прикосновения людских поколений стал гладкий, фарфоровый… Гордо, бдительно высится бронзовый конный Козимо Медичи над свалившимся у подножия его сонным человеком… Не площадь, а музей; музей, в котором торговки овощи продают, стоят извозчики…

Прохожу мимо Старого дворца, вхожу в музей Уффици. Поднимаюсь по высокой, высокой лестнице — мраморы со всех сторон. Прохожу залами картинной галереи. От Чимабуэ и Джотто до Караваджо и Карраччи, от робкой наивности тосканских примитивов до разнузданной роскоши болонских мастеров проходят величайшие века человеческого искусства. Все это знакомо, близко, сердцу мило; нет другой галереи в мире, где бы ощущалось такое «гостеприимство». И нежный Перуджино, и загадочный Боттичелли, и могучий Фра Бартоломмео, и небесный Фра Анджелико, и пышный Тициан, и светозарный Веронезе — все встречают вас как друга друзья… Оставлю галерею и длинным, длинным коридором над домами, над мостом иду на ту

сторону города. Из окон увидал под собой мутные воды Арно. Старый мост (Понте Веккио) между двух рядов своих лавчонок кишит сгущенной жизнью вливающихся в него улиц… Длинным, длинным коридором прохожу наконец на ту сторону; вхожу в музей дворца Питти. Здесь уже не та историчность, что в Уффици, не та последовательность развития; здесь самая густота шестнадцатого и семнадцатого столетий; царствуют Рафаэль, Андрэа дель Сарто, Фра Бартоломмео…

Выхожу из галереи, огибаю дворец, поднимаюсь в сад Боболи. Пахучая тишина стриженых лавровых стен. В темной зелени мраморные боги и богини, нежась на солнце сегодняшнего дня, грезят грезы прошлых дней. Львиные пасти выпускают водяные струи, порфировые лохани их принимают, передают другим… Единственно движное в этой недвижности, единственно звучное в этой беззвучности — вода. Из недр земных стремясь к солнечному свету, вода задерживается человеком, выходит наружу сквозь мраморную щель и, только исполнив человеком определенное ей назначение, стекает в лоно иных вод… Белый мрамор облеплен мхом и лишаями; в трещинах знойной поверхности скользят ящерицы; на вытянутую руку гладиатора опустился голубь… Прохожу мимо знаменитого фонтана с Нептуном; в его лохани скользят ленивые извивы золотых и голубых рыб, круглых, как большие карпы… Вот наконец и терраса, окаймленная сквозным рисунком каменных перил. Зной, простор. Опьяняющий дурман растительных дыханий — терпкий лавр и сладкая олеа фрагранс… И меж ковровых клумб, среди пятен огненных бегоний, с выпученными глазами — зеленой бронзы огромные лягушки…

Невыразима прелесть итальянского сада. Он вас переносит в нечто несуществующее, в мир линий и передвигающихся перспектив; он погружает вас в какую-то отрешенность. Оттого ли, что, попадая туда, мы чувствуем себя оторванными, но в итальянских садах есть что-то блаженно-усыпляющее. И при этом — напряжение жизненного самочувствия. Странно; это какое-то поп cogito, ergo sum, не мыслю, следовательно, существую.

Трудно передать впечатление итальянского сада тому, кто не видал, а в особенности нашему среднему русскому человеку он не понятен. Не понятен потому, что не отвечает потребностям его или отвечает таким потребностям, которые в нем спят. Ведь этот сад есть как бы дом, продолжающийся вне дома, это архитектура, распространяющаяся в природу. У нас же наоборот: у нас природа распространяется на архитектуру, природа входит в дом. Вспомните, как жили наши средние помещики. Разве была какая-нибудь забота о распространении благоустройства за пределы

дощатого покосившегося балкона? Они жили в каком-то установившемся непротивлении природе: солнце их печет, мухи их едят, акатник и сирень прямо в окна лезут. Скажешь: «Да срубите хоть сколько-нибудь; ведь душно, давит; дайте сколько-нибудь простору». Нет, им «жалко». «Жалко чего? Деревьев? Да ведь они друг другу мешают, они уже расти не могут. Разве не лучше одно раскидистое дерево на зеленой лужайке, чем этот частый хворост и под ним черная земля?» Нет, не понимают. Они смотрят на дерево с точки зрения количества.

И еще одно невольно сейчас приходит мне на мысль. Как бедны мы красотой! Ведь всякая красота есть в известном смысле роскошь, роскошь не в смысле затраты и стоимости, а роскошь как известный преизбыток, superflu, в пространстве или во времени развивающийся. У нас в России бедность и в том и в другом. В особенности в смысле украшения пространства у нас скудно. Слышал, есть где-то в Смоленской губернии выселок, называется Пустые Вторники. Переселенцы пришли на указанное место и ничего там не нашли. Был вторник — это было время; место было пусто — таково было пространство. Время у нас в России лучше заполнено, нежели пространство: музыки, поэзии у нас больше, чем архитектуры, живописи и пр. Мало у нас красоты, потому что мало преизбытка, и вряд ли когда будет, не к тому идет; а сейчас, когда все «на учете», какой же может быть преизбыток, какая красота?..

Я поднимался в коляске на Виале деи Колли извивами дороги все выше, выше. Все ниже опускалась и дальше расширялась у ног моих Флоренция… Мутный Арно с этой высоты серебряный. Город в какой-то золотой пыли; вокруг своего собора с огромным куполом Брунеллески он лежит, как вкруг пастыря покорное стадо. И, как страж, рядом с куполом высится мраморная джоттовская колокольня — как из слоновой кости, млечная, с черно-красными разводами; дивный кампаниле, про который Наполеон сказал, что его надо под стекло поставить… Теперь я доехал на самый верх… Дорога горизонтальная вдоль горы; надо мной только пестро-мраморный фасад церкви Сан-Миниато и старые стены крепости, воздвигнутой под наблюдением Микеланджело. Выехали и на площадь его имени — Пиаццале Микеланджело. Посредине стоит черно-бронзовый его Давид; широко вокруг него раскинулась площадка; по краю длинный рисунок сквозных перил и за ними — пропасть, воздух, золотая пыль… Вечерний колокол ударил в Сан-Миниато; ему отвечает другой; легкий серебристый перезвон разливается по тосканским холмам… А там, в низине, Арно серебрится длинной лентой, ластясь к темным купам Кашин, городского парка. Город сгорает

в огненной пыли. За городом, на противоположной цепи гор Фиезолевский монастырь поднимает свою колокольню и развертывает опаленный полукруг своих домов…

— Куда прикажете? — спрашивает мой возница.

— Улица Альфиери, 7.

С моим приятелем Карло Плачи я знаком сорок лет. Но он неувядаем. Неувядаем его интерес к искусству, к науке, к открытиям, к будущему, к прошедшему; неувядаем его юмор, никогда не дремлющий и всегда неожиданный; неувядаема его способность жить, путешествовать, читать, видеть, знакомиться, знакомить, переписываться и неувядаемо сходство его профиля с профилем Савонаролы. Все он знает, все он видел, все он слышал: последнюю книгу, последнюю оперу, последнюю сплетню, одним словом, Плачи — это «последнее слово». Он знает всю Европу, вся Европа его знает. В любой город он приезжает — на другой же день у него расхватаны обеды, завтраки, вечера. Но в несметном количестве его знакомств, при разнообразии отношений проходит одно общее: он несомненно отдает предпочтение «лаврам»; как поэт бряцал по лире, так рукой рассеянной Плачи треплет лавры. Он расплодил рощи вокруг себя, и лавры любят ютиться вокруг него. Музыканты, живописцы, писатели, какие только бывали во Флоренции, всегда в его доме. «Виа Альфиери, семь» — это какая-то узловая станция, где скрещиваются и встречаются люди, и во сне не видевшие, что они когда-нибудь встретятся. Здесь, за гостеприимным столом старушки матери, сколько раз я, только что приехавший из России, обедал с какой-нибудь писательницей-англичанкой, заехавшей по пути из Индии в Лондон, или с каким-нибудь французом, отъезжающим на раскопки в Сирию… Встречал я у них знаменитого историка Паскуале Виллари, романиста Фогаццарро, критика Ненчони, Матильду Серао, известного историка итальянской живописи Беренсона, писательницу мисс Паджет, пишущую под именем Вернон Ли. Там же встречал старика Сальвини. Все это было давно…

И в их же доме видал я так рано скончавшегося графа Петра Бутурлина. Родившийся в Италии от матери-испанки, он воспитывался за границей, по-русски знал плохо. Рано пробудился в нем дар стихотворства. Он писал по-английски, стяжал хорошую известность, но он не удовольствовался ею. Его потянуло в Россию. Здесь он невероятным усилием воли заставил себя овладеть русским языком и русским стихом. Он написал свою книгу сонетов — единственный его вклад в русскую поэзию; он умер вскоре после того. Прелестный стих, — в русской речи дышит Италия, и настоящая струна классической традиции звучит во всех его напевах.

Одна картинка врезалась мне в память — японская картинка. Молодая девушка, служащая при дворе, услана с поручением. Вдруг услыхала в небе далекие крики. Она остановилась, подняла голову и, забыв все на свете,

«Забыв, что бонзы ждут, что ждет императрица», загляделась, недвижная, на полет журавлей…

Он сам читал мне свои стихи, и как прелестно читал… Есть прелестное его английское стихотворение, очень популярное. Начинается словами:

> We wandered far into the fields, my love and I.
> (Ушли мы далеко в поля, любовь моя и я.)

Потом говорится о том, что они набрали целый сноп цветов. Она несла его, но, прежде чем дошли до дому, все цветы в руках ее завяли:

> This sad to think we caused sweet things to die
> By wandering far into the fields, my love and I.
> (Как грустно думать, что сгубили мы нежные созданья тем, что ушли далеко в поля, любовь моя и я.)

Бутурлины были оседлыми флорентийцами; у них был прекрасный дворец на Виа деи Серви. Во дворе, как во всех старых флорентийских дворцах, был красивый фонтан с большим бассейном. Однажды здесь играли двое малолетних детей одного из братьев Бутурлиных. Две няньки вязали чулки и тараторили, пока дети резвились и смеялись. Вдруг няньки заметили, что они уже давно детских голосов не слышат. Посмотрели — оба ребенка в бассейне утонули… На вдове графа Александра Бутурлина, брата нашего поэта, женился уже в престарелых годах брат Плачи — Дженнаро.

В их же доме встречал я и слушал покойного пианиста Буонамичи, ученика Бюлова. Что за восхитительный, тонкий художник и какой милый, всегда радостный человек, с каким искрящимся юмором…

Плачи умел вызывать шутку, как обладал исключительным даром будить мысль. С большой способностью к философскому мышлению, со склонностью к восприятию явлений с мистической стороны, он умел тут же брать жизнь и людей с такой шутливой легкостью, с таким паясничеством мысли, что мигом философия проваливалась и из обломков выскакивал, как чертушко, коварный каламбур. Эту особенность его характера одним словом

обрисовал Ганс фон Бюлов, знаменитый пианист и дирижер, женатый на дочери Листа, которая от него ушла, чтобы выйти за Вагнера. Он прозвал его — «Парсифальстаф». Сколько остроумной прелести в этом слиянии. Последняя опера Вагнера — «Парсифаль», «Фальстаф» — последняя опера Верди. Какие полюсы музыки, какие полюсы настроений и какое в одном слове сочетание странностей этого странного характера. Говорю «странного», потому что странен всякий характер, который не осуществляет себя. По природе своей Плачи бы должен быть одним, а на самом деле, выходит, другой. Он должен быть глубок — он поверхностен; он очень умен — он часто говорит глупости; он имеет массу творческих задатков — он расплескался в маленьких критических статьях по искусству, в которых почти не проявил себя. Одно слово: «Парсифальстаф». Может быть, то самое, что составляет его прелесть для других, то было пагубой для него самого, и что делал Плачи — Парсифаль, то разделывал Плачи — Фальстаф… В одной черте его еще сказывалась слабость творческой силы: он любил выкачивать сведения из человека, он был в своем роде, и в значительной степени, интервьюер. Мне всегда казалось, что настоящее обогащение человека совершается путем наблюдения, а наблюдательность молчалива; слово, зреющее в молчании размышления, тяжеловеснее того, которое родится от звонкого столкновения вопросов и ответов. Там творчество, здесь в некотором роде реквизиция… Многим я обязан и ему и его дому. Много тонкой критики, ценных указаний, не говоря о блестках ума, сжатых определениях, восхитительной смелости эпитетов.

Не могу вспоминать Флоренцию и не вспомнить этот дом. Родители Плачи были мексиканцы; они приехали во Флоренцию на два месяца и остались на всю жизнь. Отца я не знал, но мать умерла всего лет десять тому назад. В течение тридцати лет я знал ее всегда старушкой. Она почти не разговаривала, она только слушала и наслаждалась шумящею вокруг нее молодой жизнью. Без слов она была приветлива; когда бы вы ни виделись в последний раз — вчера или три года тому назад, откуда бы вы ни являлись в ее дом — из соседнего квартала или из Тибета, она, протягивая вам руку, неизменно говорила: «Comment vous portezvous?» («Как вы поживаете?») И каждый раз я думал: non multa, sed multum. (Не многое, но много.) Мало приветов я в жизни ценил, как этот… После обеда она садилась в свое тридцать лет на том же месте стоявшее кресло и раскладывала пасьянс; ей сопутствовала в этом деле верная старушка мисс Гибсон, воспитательница ее детей. Пока Карло, брат Дженнаро, сестра Аделаида, верный товарищ друзьям своих братьев,

занимали гостей, старушка мать за пасьянсом радовалась говору, смеху, пению и игре.

Она любила друзей своего сына, и запах лавра услаждал ее; но одному она поставила запрет; она сказала сыну: «Кого хочешь, всем рада, но Д'Аннунцио не могу принять». Этот сердцеед, губитель стольких женских жизней, не находил пощады в этическом кодексе старушки. «Ну только один раз, дозволь мне только один раз пригласить его». Старушка согласилась. И такова обворожающая сила этого удивительного писателя в пошлейшей человеческой оболочке, что о запрещении уже не было речи.

Такой атмосферой обдавало меня, когда заходил к ним даже между двух поездов. Это было особенно, непохоже… Помню, однажды мы с моим приятелем говорили об этой особенности и непохожести их дома. «Тебе бы следовало когда-нибудь описать наш дом», — сказал он. И вот через двадцать лет пришлось мне исполнить его поручение…

Хочу здесь отметить одно мимоходное впечатление, испытанное прошлой зимой, то есть зимой 1920 года, в Москве. Я был в одной из школ, где преподавал выразительное чтение и мимику, когда явилась делегация итальянских социалистов, пребывавшая в стенах советской столицы в целях изучения условий жизни советского рая. Что такое условия, в которых протекают уроки в наших советских заведениях, это знают только те, кто в них учил и учился, вернее сказать: пытался учить и пытался учиться. Завернутые в шубы, мы сидели, смотрели на урок ритмики по системе Далькроза. В числе делегатов был некто Каффи, сын бывшего костюмера императорских театров, воспитывавшийся в России и потому хорошо имевший возможность сравнить то, что он видел, с тем, что он помнил… Но не к этому веду речь сейчас. Я объяснял ему смысл проходивших перед ним упражнений, когда он вдруг сказал: «Я знаю, я читал, у нас об этом писал некто Карло Плачи». После всего написанного в предшествующих строках вы легко поймете впечатление, произведенное на меня этим именем в эту минуту. Среди безотрадной пошлости, среди оскорбительной жестокости всего того, что нас здесь окружает, среди удручающих потемок, при полной оторванности от внешнего мира и мирового движения — это имя в устах приезжего итальянца было для меня зеленой ветвью в клюве голубя, прилетевшего в ковчег: значит, там есть еще жизнь, там продолжается. И Италия есть, и Флоренция продолжается. Увижу ли?.. Когда?..

ГЛАВА 2
От Испании до Флоренции — Портреты ушедших людей

Какая минута жизни сравнима с той остановкой, которую дарит судьба на перегибе между гимназией и университетом? Переход из отрочества в мужество… Я использовал время от конца мая до начала сентября 1881 года в путешествии. Страсть к путешествию во мне уже тогда сидела и осталась навсегда.

С отцом моим мы поехали в Париж. Тут мои первые впечатления от французского театра. Многое из того, что я описывал в первой части этой книги, я видел именно тогда. До сих пор удивляюсь четкости своих впечатлений и длительности, с какой, вонзившись в меня, они в памяти живут. Очень может быть, оттого так и сильны они, что это было еще

> В те дни, когда мне были новы
> Все впечатленья бытия…

Из Парижа я поехал в Испанию. В Мадриде ходил каждый день в музей Прадо, самый мне близкий из всех музеев после флорентийских. Там я узнал Веласкеса, его глубокие горизонты и его глубокие, издалека смотрящие глаза. Можно ли забыть пронзительные взгляды этих людей, сидящих вокруг, среди скалистой природы, и этого оголенного юноши, которого венчают виноградным венком, и того, который держит в руках чашу виноградного сока? Чей взор, хоть раз встретившийся с этими взорами, может избежать их хищного, ядовитого преследования? И тут же, в том же музее, того же Веласкеса — распятие. Никакого взора — опущенная голова, и лицо наполовину завешано выбившимися из-под тернового венца волосами. Это распятие совсем отлично от всех других. В нем никакого внешнего порыва вверх, оно не взывает к небу; все склоняется: голова склоняется, пальцы отвисают и склоняются, измученные, к ладоням; уста смежились, и только свет теплится вокруг склоненной головы. Ко всем распятиям приложима подпись: «Векую мя оставил еси», под распятием Веласкеса: «Свершилось»… В Севилье я узнал Мурильо, которого до того слишком мало ценил; узнал реализм его нищих, а в больших фресках монастыря узнал его совсем неожиданный размах большого композитора… Севилью помню плохо, мало был. Помню узкие улицы, прохладные, с колоннами

и фонтанами дворы, балконы, решетки, мантильи, гитары и пресыщающий запах жасмина… Кадикс — на высокой скале белый город, окаймленный морской синевой. Помню нашего консула, благообразного старика барона Фелейзена с женой. Вечером ходили на городскую прогулку, на высокую Аламейду, куда высыпали в мантильях красавицы: помню одну, которую старик называл «светило дня»… Самое удивительное из того, что я видел в Испании, это Гранада. На фоне снежной Сьерра-Невады — в лаврах и апельсинах утопающий город. Смешенье мавританского мраморного кружева и мавританских изразцов с тяжелым испанским ренессансом. Сказочная Альгамбра, угрюмые остатки дворца Карла V, игрушечный дворец Хенералифе, олеандры, кипарисы и журчание воды: всюду вода — наследие мавританского владычества. Я проехал Испанию слишком быстро, и было это сорок лет тому назад…

Видел я еще Эскуриал; «в пустыне чахлой и скупой» — каменный Эскуриал, монастырь, где хоронят испанских королей. Когда похоронное шествие подходит к воротам монастыря, ворота заперты. Маршал стучится в ворота. Голос изнутри:

— Кто там?

— Тот, кто был король Испании.

Ворота отворяются, выходят монахи, принимают фоб, вносят — ворота затворяются. Похоронное шествие расходится… Видел я угрюмое Толедо над крутым берегом мутного Таго, с его мрачным не то дворцом, не то темницей Альказаром и с мрачным собором, из которого неожиданный выход в очаровательный дворик с кружевными готическими арками. Здесь висят железные цепи, в которых томились испанские пленники в Гранаде до падения мавританского владычества. Фердинанд и Изабелла после взятия Гранады привезли их сюда, повесили тяжелые цепи в этом дворике; теперь их оплетает зеленый виноград. Как хорошо помню этот зеленый виноград вокруг готических арок: против света непроницаемый рисунок каменной резьбы и вокруг него пронизанная светом зелень виноградных листьев… Испания — суровая страна. Чтобы увидать немного больше, чем то, что видишь из окна вагона, я совершил длинную поездку в дилижансе от Гранады до станции Мен-хибар, двенадцать часов. Высоко на козлах, выше кучера. Нелегко это было, тряско, очень утомительно. Но мулы, бубенцы, остановки в харчевнях, перепряжка лошадей и перебранка погонщиков, ослепительная луна и фантастические очертания скал с ерошащимися на них агавами — все было необычно ново и осталось в памяти как что-то единственное, неповторимое, сказочное, но суровое. Природа испанская — неприветливая, но испанцы ее засыпали цветами,

забрызгали фонтанами, залили гитарным звоном и стуком кастаньет…

> Тогда же я видел в первый раз бой быков.
> Ликует буйный Рим. Торжественно гремит
> Рукоплесканьями широкая арена.

Только не Рим, а Мадрид. Каждое воскресенье в пять часов огромный цирк наполняется нетерпеливой толпой. Вокруг цирка говор, крики, суета. Повозки, мулы, бубенцы, шарфы, веера, зонтики, мантильи, лимоны, апельсины, вода, мороженое, фрукты, сигареты, конфеты. Все это кричит, кто требует, кто предлагает, и надо всем развеваются флаги, испанские цвета — желтый с красным. Вхожу, пробираюсь на место, тороплюсь — заразительно общее нетерпенье. Сажусь. Страшно перед неведомым кровавым зрелищем; но смотрю: вправо от меня сидит девушка лет семнадцати, очаровательная испанка; из-под черной кружевной мантильки льнут к вискам напомаженные крючочки волос, то, что французы называют сердцеловами, — на матовой коже лица глянцевитые черные вопросительные знаки; мантилька приколота к волосам и к груди двуцветными кокардами из желтых и красных цветов. Она тоже ждет кровавого зрелища, но на лице ее ни тени беспокойства; и я подавляю свое волнение. Я сижу «a la sombra», в тенистой стороне огромного цирка; это считается лучшими местами. Понятно, здесь прохладно и не надо жмуриться, да и видна вдобавок другая, солнечная сторона: она вся мигает, как цветными крыльями, трепещет веерами… Разражается духовой оркестр. Выходит на арену блестящее шествие — конные, пешие; развеваются красные плащи, блестит на солнце золотое шитье испанских костюмов. Размещаются в разных местах арены. Отворяются большие тяжелые ворота, на арену выскакивает бык — огромный, каких мы не видали. Как разно он выскакивает. Один выскочит и, гордый, останавливается, озирает толпу; тогда приходится дразнить его, чтобы завязать борьбу. Другой выскочит и как стрела стремглав кидается на лошадь — вмиг и конь и всадник подняты на воздух и с грохотом падают на землю; но всадник успел вонзить ему свою пику, и бык устремляется на другую лошадь.

Вся арена тогда в движении; пешие подскакивают к нему, дразнят красными плащами, отвлекают его внимание. Бык вдруг наметит стоящего у высокого барьера человека, бросается на него, но тот привскакивает на ступеньку и с акробатской ловкостью перебрасывается через барьер — бык останавливается перед пустым местом. В ярости он бьет копытом, роет песок. Он

утомился. Тогда приносят маленькие пики, обмотанные цветными ленточками. Человек перед быком стоит, привскакивает, приплясывает, и когда бык на него кидается, он сверху втыкает ему две пики в шею и отскакивает. Жестоко, но жестокость прикрыта такой нарядностью, такой молодцеватостью, что нельзя не любоваться. С какою легкостью эти люди в бархатных, золотом шитых костюмах, в чулках и башмаках играют со смертью… Когда у быка по обе стороны шеи целая бахрома маленьких пик с лентами, тогда выступает тореадор — самый нарядный из всех; в одной руке длинное лезвие, в другой — маленький кусок красной материи. Наступает минута единоборства; весь цирк замер, десять тысяч человек притаили дыханье… Человек и бык стоят друг против друга; бык наконец кидается на красную тряпицу, которую человек подставляет ему левою рукой, а правая в это время, проходя между рогами, вонзает ему длинное лезвие вдоль спинного хребта. Бык падает. Рев, гвалт, рукоплескания. Оркестр играет. На арену летят цветы, апельсины, сигары, дамские платки… Выезжают с бубенцами и кисточками мулы, по три в ряд; за ними на веревках крюки; подбирают трупы лошадей и быка. В три минуты нет следа минувших ужасов. Все смиреет; все ждет. Открывают ворота — выскакивает новый бык…

Из Испании я заехал в Баньер де Бигор на французском склоне Пиренеев навестить отца, который там лечился водами. Что за прелесть северный склон Пиренейских гор! И как не похожи оба склона, французский и испанский. Южный склон выжжен, пустынен, желто-бурый; селенья редки, влаги мало, потоки пересохли — дикий, суровый край с разбойничьими преданиями. А северный, французский склон! Зеленый, влажный, плодородный. Города и селенья ютятся в расселинах, вползают на скалы, спускаются в долины. Пиренейские долины! Что за картины благоденствия! Они как будто говорят человеку: «Зачем ты несчастлив? Все мы тебе даем». Далеко они расстилаются, как ковер зеленый, по которому широкая река величаво провожает белые разводы своей успокоившейся пены. И стоят вдоль берега, как застывшая процессия, длинные, тонкие тополя, крепко вросшие и трепетно стерегущие спокойный бег глубокой воды. Заселенные долины, в радости обработанные, необманно расцветающие, развертываются, теряются в бледнеющей дали…

А в горах сколько прелести, какое разнообразие. Никогда вы не на одной высоте; то недоступная перед вами вышина, то недосягаемые низины. Дорога вьется петлей, огибает скалистые громады, свисает карнизом, сбегает в мрачные, сырые щели, выкатывается в зеленый простор; мосты висят над безднами, а то так спускаются к воде, что их обдает сыростью и шумом. О,

прелесть пиренейской воды! Всюду она журчит, отовсюду вас окликает; то пенистое пыльное паденье водопада, то ровное течение меж сочных берегов, то со дна котловины смотрит на вас жидкого аквамарина глаз с поволокой белой пены, окаймленный ресницами папоротника и шиповника…

Мы с отцом объехали много пиренейских городов. Подымались на вершины, спускались в долины. Перевалили через Col du Tourmalet, видели городок St. Jean de Luz, повисший над пропастью, оберегаемый белой своей колокольней; к нему, к этому городку, ведет над пропастью мост, один над бездной перекинутый свод; над смычкой свода — распластанный каменный орел: мост построен Наполеоном III… Видели, как развернулся перед нами цирк Гаварни — амфитеатр скал, в верхнем крае которого зазубрина на небе вырисовывает светлую выемку: это, по преданию, Роланд Ронсевальский, перескакивая через Пиренеи, задел копытом своего коня… Видели грот Лурдской Богоматери с никогда не гаснущим в нем светом длинных восковых свечей, с тысячными толпами молящихся и со сводами, увешанными бесчисленными костылями — подношениями за дарованные исцеления… Заходили на знаменитую шоколадную фабрику в городе Тарб… И подолгу гуляли на террасе перед дворцом города По. Что за город! Столица старого королевства Наваррского. Опасный юмор рассказов королевы Маргариты… И что за вид! Сзади снежные вершины, а впереди внизу — цветущие долины. Далеко, далеко расстилаются они, так далеко, что не видать движения: даль недвижна, даль безмолвна — отсюда спокойствие высот. Только иногда далекий свисток, и тогда ищешь глазами и увидишь в зелени растрепанную ветром бело-дымчатую гриву; но с этой высоты, в такой дали и поезд кажется, что не быстро бежит… Один из этих поездов умчал меня в Италию…

С каким нетерпением я ждал Ривьеры! Как медленно тянулась ночь!.. Я был один в вагоне; я не спал — я сторожил, чтоб не пропустить зарю, не пропустить, когда во тьме блеснут первые полосы Средиземного моря… На одной станции — было еще совсем темно — входит пассажир.

— Можете ли мне сказать, с какой стороны мне поместиться, чтобы видеть море?

— С правой, разумеется.

— Вы, значит, здешний?

— Нет, я не здешний.

— В таком случае вы часто приезжали на южный берег?

— Да нет, я в первый раз в этих местах.

— Так откуда же вы знаете, что море будет справа? Ну как

объяснить человеку, что когда едешь из Франции в Италию, то море не может быть иначе как с правой стороны? Я всегда был малоразговорчив в дороге, но до сих пор жалею, что не расспросил его, откуда он и где учился… Вам не кажется, что в географии проявляется культурный уровень человека? Да еще в грамматике. Есть что-то общее; там — уменье разбираться во внешнем пространстве, здесь — уменье разбираться в пространстве внутреннем…

Да, уменье разбираться… Лабрюйер сказал: «После бриллиантов и жемчугов самое редкостное в мире — способность к здравому суждению».

Ривьера сияла. Смотрю направо из окна: через макушки олив, апельсинов и пальм на море смотреть больно — слепит. Щуришься, и кажется, вся природа в знойном блеске щурится. Дома и виллы утопают в садах. Налево, выше нас, опаленные фасады с закрытыми ставнями, как безглазые, смотрят на солнце; направо, ниже нас, фасады, обращенные на север, смотрят зрячими окнами. Поезд часто останавливается; маленькие станционные здания заплетены вьющимися яркими цветами. Все полуденно-сонно, и пресыщена запахами горячая нега… Нехотя как будто поезд продвигается, скользит меж садов, меж каменных стен; как длинная гусеница, просасывается в дыры туннелей, выходит в лощины, огибает мысы. За каждым мысом новая даль, и один из тех мысов в далекой дымке, наверное, уже Италия… Проезжаем кругло-продолговатую гавань Вилльфранш. В глубокой ее лохани, меж крутых высоких гор, покоятся на лоне ослепляющей воды гиганты броненосцы. В ласковых складках трепещут флаги французские и иноземные… Проезжаем Монако. Столица маленького княжества на желто-серой скале выдвигает в море желто-серую громаду княжеского дворца… Проезжаем Монте-Карло. Над террасами, средь лавров, пальм и померанцев, поднятый меж сияющим морем и сияющим небом, с башнями, киосками и куполами высится игорный дом — ехидная приманка, дворец всемирного соблазна… Проезжаем в лощине нежащуюся Ментону, и вот — последний французский мыс: за ним Вентимилья, итальянская граница.

Странно. Здесь нет того резкого перехода, как в Альпах; тот же берег моря, те же лавры, те же пальмы, те же апельсины, и все-таки все другое. Италия! Я никогда не любил Ривьеры не потому, что она мне не нравится, а слишком она близка к Италии. На Ривьере я чувствую себя как на натянутой цепи, с которой мне хочется, не терпится сорваться… Едем дальше. Мимо утопающей в пальмах Бордигеры, мимо жаркого Сан-Ремо, зеленого Нерви, цветущего Рапалло, мимо гордой Генуи, мимо шумливого

торгового Ливорно… Поезд оставляет море, сворачивает влево, вдоль берега мутного Арно. Вот тихая, сонная Пиза с знаменитым собором своим, с надоевшей своей наклонной башней и с молчаливым своим Кампо Санто… Мимо, мимо! Флоренция зовет!

Длинные оголенные тополя с одной лишь зеленой кисточкой на макушке… Вечереет, прохладно… Запах листьев… Вот на берегу воды строения, большая терраса; стоят на парапете и среди цветов вазы старинной формы, огромных размеров горшки — это знаменитая фабрика Синья, которая воспроизводит старую утварь по образцам древнеримским, помпейским и итальянского Возрождения. Я впоследствии привез в деревню четыре огромных горшка, как те, в которых древние римляне хранили, а итальянцы до сих пор хранят оливковое масло; «орчи» зовутся они… Мимо пролетает поезд. Сейчас Флоренция. Уже пошли огороды, эти прелестные итальянские «подэри», где и овощи, и цветы, и плодовые деревья — все вперемежку… Вот уже Арно заслоняется темными куполами Кашин, городского парка; вот старые крепостные стены, дома, расходящиеся, сходящиеся рельсы, сигнальные огни, семафоры, последние толчки, тормоз: «Firenze!» — кричат соскочившие с поезда кондуктора.

Я часто в жизни подъезжал к Флоренции, и не упомню, сколько раз. Впоследствии я завел книжечку, куда записывал все города, в которых бывал, — год, месяц. По этой книжечке легко было бы восстанавливать прошлое; но и ее у меня отняли, когда отняли все мое добро. Теперь приходится положиться на то, чего отнять нельзя, — на память, пока сам ее не потерял… Часто я подъезжал к Флоренции, часто живал в ней, часто наезжал, но память ни одного другого приезда, ни одного другого пребывания не дорога мне, как память об этом втором моем посещении в 1881 году. Мне только что минул 21 год. Как определить свойство той прелести, которая заливает душу, когда бужу в себе эти воспоминания? Встает передо мной один эпизод из Толстого. Помните в «Воскресении», когда Нехлюдов приезжает в деревню к тетке? Как его охватывают воспоминания детства. И как все эти воспоминания сливаются с ощущениями окружающей действительности: чистая комната, чистое белье, после дорожной пыли — умывальник… Тут есть одна подробность. Мне всегда казалось, что было бы интересно составить из разных авторов сборник того, что я бы назвал «гениальные подробности». Вот такая гениальная подробность в этом месте у Толстого. Нехлюдов собирается умываться: отворяется дверь, входит цветущая, румяная молодая девушка, подает ему чистое полотенце и кусок мыла — новый, на котором буквы еще не стерты, Гениальны эти

нестертые буквы на куске мыла и упоминание о них, даже, скажем, просто появление их в такую минуту… Так вот, вспоминаю гениальную подробность Толстого, когда мыслями лечу к тому своему пребыванию во Флоренции.

Мало кто знает Италию летом. А между тем большая в ней летом прелесть. Летняя Италия — это Италия для итальянцев; зимой — Италия для иностранцев. Летом большие гостиницы Флоренции пустуют, большие магазины не работают, нарядных экипажей не видать. Набережная Lungaro тянется знойная, пустынная; все окна с задернутыми ставнями, и за этими ставнями в темных пустых комнатах на люстрах свечи мякнут и гнутся от жары. Все живущее ищет тени. И мне в Hotel d'Italie отвели комнату не на набережную, а на тенистую, шумливую Боргонисанти…

Хочу сказать теперь о некоторых людях, которых видел тогда и которых больше не увижу…

Эдуард Карлович Клаус был гувернером моего дяди Петра Григорьевича, брата моей матери, и нас с братом, когда в первый раз мы были во Флоренции; он давал уроки математики и немецкого языка. Мы любили его уроки столько же, сколько его самого. Он был женат на англичанке, и старички жили в маленькой квартирке на Виа Романа. Милые старички. Какая воспитанность, какие прелестные формы внимания. Они принимали меня как родного; у них я и отдыхал и поучался. Они знали Италию, направляли меня; они любили Италию, и только про Милан она пренебрежительно говорила с невытравимым английским акцентом: «Une grande ville mercantile» (Большой торговый город). Против их дома не было другого дома, а была стена, окружающая сад при вилле Ториджани; поэтому в узкой мрачной улице у них в квартире был свет и воздух, и из окна третьего этажа видны были трепещущие переливы лоснящихся на солнце вечнозеленых лавровых листов… В один из следующих приездов во Флоренцию я попал на похороны г-жи Клаус. Как грустен одинокий старик, провожающий свою старуху… Больше я его не видал. Кто провожал его, не знаю…

Докладывая домой о первых днях моего флорентийского пребывания, помню, я писал матери, что прежде всего мое внимание было уделено «древностям», и прибавлял: «то есть Клаусам и Ларисе Андреевне». О Клаусах сказал. Лариса Андреевна Поджио, вдова декабриста Александра Викторовича, уже много лет жила во Флоренции со своей дочерью Варенькой. Она была милая, приветливая старушка, не глубокой культуры, но тонкого воспитания. Она вышла замуж в Иркутске, где была классной дамой в институте. От Иркутска до Флоренции — какой

большой пробег жизни! Сколько пережитого прошлого в ее памяти. Жалко, что не использовал ее воспоминаний; но она была такая живая старушка, жила больше настоящим, нежели прошлым. Ее дочь Варенька была прекрасная музыкантша, ученица Бюлова. Она была замужем за Владимиром Степановичем Высоцким, которого однажды по моей просьбе принял на службу управлявший таможенным департаментом Алексей Сергеевич Ермолов; он долгие годы был начальником таможни в Вержболове; кто из проезжавших не знал его?.. В доме Поджио — Высоцких жили художественные интересы. Дочери Вареньки занимались живописью, в то время как мать давала уроки музыки. Артисты всех профессий были им друзьями. Росси и Сальвини были у них своими людьми. Старушка всем этим интересовалась и жила этим больше, чем воспоминаниями о Сибири. Не скажу, чтобы она жила искусством, литературой и пр., нет, но она интересовалась тем, чем жили ее дочь и внучки; она в них жила и через них жила в том, что их интересовало.

Часто я замечал в людях пожилых такой прилив совершенно новых для них интересов из любви к интересам подрастающих внуков. Я знал бабушку, которая пристрастилась к нумизматике, потому что внук собирал монеты; я знаю бабушку, которая на старости лет начала коллекцию марок… Лариса Андреевна была прелестного характера. Она чувствовала горячо. От нее веяло не осенью, как от многих стариков, а летом; она всегда сообщала последнюю новость, она всегда говорила о завтрашнем дне. Маленькая, кругленькая, с круглым лицом, с высоким оголенным лбом, покрытым черной косынкой, она была сама приветливость. Драгоценное качество, тем более что жизнь их иногда бывала нелегкая. Они испытали много нужды. Наконец открыли во Флоренции пансион (впоследствии и в Риме). Сколько русских — музыкантов, живописцев, писателей — останавливалось у них на Виале Маргерита, 42… Они вступили в союз со старой приятельницей своей Любовью Ивановной Челюсткиной, когда-то певицей, ученицей Виардо, певшей под именем Альбини. Так и дом их стал называться Пансион Альбини. Высокая, огромная, с седыми стрижеными волосами, синьора Альбини известна всей Флоренции. Она похожа на гренадера в юбке, но в гостиной висит ее портрет в костюме пажа из «Гугенотов». Мой приятель Карло Плачи говорит, что в память своих прежних лавров она всегда носит под юбками трико… Мой отец называл Любовь Ивановну Амора Ивановна. Варвара Александровна и Любовь Ивановна сейчас живут, если только живы, в Марина ди Пиза, на берегу моря, куда перенесся Пансион Альбини… Старушка Лариса Андреевна давно умерла. Вспоминаю ее с благодарностью. Я

думаю, всякий человек, приближаясь к склону дней своих, с благодарностью вспоминает приветливых старушек, которые когда-то говорили ему «ты».

Вспоминаю, что в комнате Ларисы Андреевны висела картинка Айвазовского, и по этому поводу хочу сказать, что известный наш маринист был во Флоренции в ту зиму, которую мы там прожили детьми, в 1872 году. Он часто приходил к нам вечерами; он всегда приносил с собой пачку акварельной бумаги, кисти и краску. За разговором он писал морские виды сепией. Он пек их как блины, обыкновенно по три зараз: пока работает над одним, другие два подсыхают; как подсохнет один из них, он его берет, а тот оставляет. Тогда я узнал применение перочинного ножа в акварели: ножом он выскабливал краску с бумаги, чтобы дать пену на волнах, струи воды со свисающей скалы.

В ту же зиму часто приходил к нам граф Алексей Толстой. Часто вечерами читал у нас свои последние произведения. Так, слышал я по рукописи и в авторском чтении балладу «Порой веселой мая» и множество мелких стихотворений, также «Посадника». Скажу, что чтение его было ужасно. Он рубил стих, отбивал рифму; это было грубо и так мало сочеталось с тонкостью текста и с тонкостью его собственной природы. В другом месте я говорил о чтении других авторов, которых мне пришлось слышать. Авторы вообще плохие чтецы, но они и не специалисты. А самые плохие чтецы именно специалисты, актеры. За время моих трехлетних занятий в Москве (1919–1921) по разным студиям театральным я убедился в том, что они, во-первых, не знакомы с самыми начальными элементами искусства речи, а во-вторых, до того укрепились в своих голосовых трафаретах и штампах, что не способны перенять простейших интонаций. Они не знают, что такое верх и низ, повышение и понижение, они совершенно как в потемках. Их голоса, утвердившиеся в излюбленных ухватках, задеревенели в них и утратили природную свою гибкость. Когда-нибудь поговорим и об этом, а сейчас вернемся вглубь ранних флорентийских воспоминаний.

В числе знакомств, унаследованных мной, упомяну еще живописца Марианечи, учителя рисования моей матери. Он мастерски копировал акварелью. Не скажу, чтобы я очень любил эту отрасль искусства, но в то время на нее был большой спрос. У нас в доме было множество его работ. Где он сейчас?.. Он был старик редкой красоты, очень молчаливый. Его жена была черная, вострая тосканка, очень некрасивая и очень говорливая. Я ездил к ним в деревню, на их виллу в горах Муджелло. От нее в первый раз услышал я фразу, которая впоследствии мне уши прозвонила.

Когда зашла речь о том, что русские хорошо говорят на иностранных языках, она сказала: «Их язык так труден, что после него все другие языки им кажутся легки». Это объяснение, которое каждый провозглашал как открытое им Колумбово яйцо, я слышал на протяжении всей моей жизни.

И еще в числе унаследованных знакомств — старушка Аделаида, по фамилии Пэт. Она была компаньонкой сестры моего деда-декабриста, княгини Софьи Григорьевны Волконской. Когда Софья Григорьевна ездила в Сибирь навестить брата и прожила с ним год в Иркутске, Аделаида ее сопровождала. Много бы можно рассказать об этих двух женщинах, но я подробно говорил о них в моей книжке «О декабристах». Я там нарисовал портрет моей прабабки (называю ее прабабкой, потому что отец мой женился на ее внучке), страшной старухи, с усами, скряги, клептоманки, и ее маленькой горбатой подруги-компаньонки. Скажу здесь только, что я ездил навестить старушку. Между Пизой и Ливорно жила она на маленькой дачке с сестрой и племянником. Она была редко живой человек, она вся кипела и искрилась. Ее сестра была смирная, плавная, настолько же доверчиво-одобрительная, насколько Аделаида была отрицательно-саркастична. Когда они были вместе, они всегда по всякому предмету высказывались по очереди, и можно сказать — всякий предмет освещался с двух сторон… Много семейного, стародавнего улетучилось с Аделаидой. Мы не умеем пользоваться стариками. Когда они говорят о прошлом, молодежи скучно, а когда они говорят о настоящем, молодежь им дает понять, что они суются не в свое дело. А когда мы сами старимся, тогда жалеем, но уже поздно. Не сразу человек понимает, что обогащение жизни не в том, чтобы спорить по существу, а в том, чтобы возможно больше воспринять, собрать и сохранить…

Приезжал в то время во Флоренцию повидаться со своей матерью мой добрый приятель князь Борис Борисович Голицын, известный между знакомыми под именем Боби. Его мать вышла вторым браком за итальянца, маркиза Инконтри, и жила во Флоренции; впоследствии она переехала на чудную виллу Инконтри — Пиэтра, к северу от города по болонской дороге. Боби Голицына я знал с детства; долго он мне не нравился; он был воспитан в холе, его одевали в бархат. Как неверно в эти годы мы осуждаем детей за то, что с ними делают души не чающие в них бабушки. Впоследствии он поступил в морское училище; он выказал выдающиеся способности. Выйдя в отставку, он пошел по ученой части, поступил профессором в Морскую академию. Он стяжал почетную известность в области физики и высшей математики; некоторые открытые им методы вычисления

приняты наукой. Он всегда был окружен приборами, цифровыми выкладками. Он был академик и заведовал петербургской сейсмической станцией. В области предсказания землетрясений он особенно много сделал.

Боби Голицын был задумчив, нехотя смеялся; вся жизнь некрасивого лица сосредоточивалась в глазах; это были горящие угли, как у араба. Откуда могло быть у него такое наследие? Его мать была «урожденная Кушелева» по визитным карточкам, но все знали, что она подкидыш, ее в шляпной картонке положили на подъезд старушки Кушелевой, жившей в большом угловом доме на Фонтанке у Симеоньевского моста. Ребенок попал в один из самых богатых и сановитых домов тогдашнего Петербурга; старуха Кушелева была последняя, которая еще выезжала на четверике цугом. Хотя у нее были свои дочери, но приемыш сделался любимицей. Она получила прекрасное воспитание и столь же блистала живостью ума, сколько отсутствием красоты. «Маркиза Маня» была очень известна по Флоренции своим гостеприимством, своим остроумием и вострым языком… Меня она приняла как друга своего сына; я часто жил у нее на вилле… Боби Голицын был милый человек, с приятными формами обращения, чрезвычайно ровный. Свою огромную ученость он никогда не показывал; он с людьми говорил как будто через форточку — говорит, говорит и форточку захлопнет. Он был моложе меня, а умер года за два до войны. Он был женат на Марии Константиновне Хитрово, женщине с большим юмором и выдающимся комическим талантом. Слышал, что после революции она в Петербурге поет куплеты и играет комических старух… Она унаследовала от своей свекрови знаменитые кушелевские жемчуга. Где они теперь? Потеряла жемчуга, пожинает лавры…

Хочу еще выделить из памяти несколько имен, каждое по-своему заслуживающих выделения.

Жила во Флоренции на своей сказочной вилле «Маргерита» княгиня Мария Васильевна Воронцова. Вряд ли можно назвать на памяти нашего поколения более яркую фигуру и судьбой поставленную в более блестящие условия. Ослепительной красоты. Мне всегда представлялась она, когда читал в «Евгении Онегине» про Татьяну, что на балу

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы.

Эти стихи относятся к ее свекрови, но перед моей памятью всегда встает образ княгини Марии Васильевны, хотя знал ее только старушкой. Но я видел ее портреты. Между прочим дивный портрет Винтергальтера: в бархатном кирпичного цвета платье стоит она, отклонившись назад, держит в руке большую шляпу с страусовым пером, которое покоится на пышной юбке; все на ней пышное, тяжелое, а она сама — легкая, стройная. Какая прелесть в портретах Винтергальтера! На фоне листьев, всегда с кусочком природы, точно в противовес утонченности лица и изысканности наряда… Трудно представить себе более блистательную обстановку, чем та, что была предоставлена судьбой княгине Марии Васильевне Воронцовой. В Петербурге у нее был прелестный дом на Крюковом канале, впоследствии дворец великой княгини Ксении Александровны; в Крыму у нее была на весь мир известная волшебная Алупка; в Париже дом, на Женевском озере дача, вилла в Ницце, вилла в Сорренто и, наконец, вилла во Флоренции. Везде она принимала царей и королей. Кстати, вот милый случай, рисующий блеск и находчивость ее ума. Александр II узнал, что она неодобрительно отзывается о его намерении жениться на княжне Долгоруковой так скоро после кончины императрицы. Он едет к ней с визитом и в разговоре замечает:

— Говорят, княгиня, что с вами надо быть осторожным, что у вас язык хорошо подвешен.

— Да, государь, но он слишком короток, он никогда не касается неба. (По-французски «palais» одинаково значит и «небо» и «дворец».)

Она бывала иногда до невероятности смела в своей речи, но все это было окрылено такой фантазией, разукрашено такой яркостью эпитетов, что ей все сходило. В ней была какая-то чрезмерность, чрезмерность ощущений и чрезмерность выражений; это была сплошная превосходная степень.

Чрезмерность эта повышалась ее сыном от первого брака, Столыпиным. Под именем Бульки он был известен от Петербурга до Парижа, от Лондона до Неаполя за свои странности, невероятные костюмы, драгоценные камни, за хор неаполитанских певцов, который таскал за собой по Европе. Это был какой-то кусок XVIII века, затерянный в середине XIX. Это была старая русская барская взбалмошность в совершенно невероятных, уже по тогдашним условиям, размерах.

Это был постоянный театр, сон наяву. Мать и сын всегда ссорились и вместе с тем не могли обойтись друг без друга и друг друга взвинчивали. Раз вечером я читал у них «Феодора Иоанновича»; они вдвоем по шумливости своей отзывчивости, по

размаху, с каким она выражалась, равнялись публике в двести человек. «Ты знаешь, — говорила старая княгиня, вся дрожащая, с глазами навыкате, — ведь у меня был нож, принадлежавший Борису Годунову, и на нем была запекшаяся кровь!..» Когда я уходил после чтения: «Спасибо тебе, спасибо, князь Сергей, — я тебя теперь иначе не буду звать, как князь Сергей, — спасибо тебе! Я сегодня ночью буду молиться за Феодора и за Ирину, просить, чтобы Господь их упокоил… Спасибо». Да, это было то, что Евреинов называет «театр для себя», и с исключительной щедростью в театральных средствах — безумная роскошь обстановки и темперамента через край.

Княгиня Мария Васильевна сочиняла куплеты, которые сын ее клал на музыку. Одна из этих песенок когда-то очень много пелась:

Мне твердили, напевая:
«Полюби, плутовка».
У мужчин у всех такая
Скверная сноровка.
На него гляжу я строго,
А в душе робею —
Так и хочется, ей-Богу,
Броситься на шею.

В свое время этот романс был столь же популярен, как «Скажите ей» княгини Кочубей. Они облетели все российские захолустья, они удостоились гармоники и балалайки, под их влюбленное воркованье задорно щелкали коварные семечки… Но, кажется, это был единственный из плодов музыкально-поэтического сотрудничества матери и сына, заслуживший некоторое подобие увековечения…

Так мать и сын, во всем прочем ссорившиеся, сливались в искусстве; они сходились под сенью лавра. С Горацием вместе она могла сказать сыну:

Воздай, как должно, яства Юпитеру
И, утомленный долгим скитанием,
Ложись сюда, под сенью лавра,
Чаш не щадя, для тебя хранимых.

Последний совет он исполнял добросовестно — «чаш» он не щадил и каждого гостя спрашивал: «Чего хотите? Шампанского, „асти спуманте“ или хорошего „сотерна“?» Такое предложение

бывало приятно в жаркие дни, под зыбкой тенью веранды, обвитой ползучими розами. Истома обнимала присутствующих; разговор увядал. Княгиня в черном длинном платье сидела в глубоком кресле; ряды жемчужных нитей лежали на впалой груди. Булька, в шелковом сиреневом халате с подкладкой цвета настурций, с сапфировыми пуговицами, нервно обмахивается опахалом. Старушка начинает клевать носом; вдруг пробуждает ее предприимчивый голос сына:

— Мама, заставим неаполитанцев петь.

— Ну что ты, Булька! Среди бела дня.

— Ах, мама, при чем тут час или время года! В том и прелесть музыки, чтобы слушать ее, когда хочется.

— Булька! Ты не понимаешь, что ты говоришь. Именно потому, что ты хочешь слушать музыку среди бела дня, ты доказываешь, что ты музыку совсем не понимаешь, не чувствуешь.

— Совсем нет, напротив, — вы не чувствуете музыку, если можете ее слушать только в определенные часы.

— Булька!! Ты не знаешь, что ты говоришь!

— Может быть, но вы отлично знаете мои чувства.

— А главное, ты не думаешь о других. Ты забываешь, что эти несчастные люди устали. Все итальянцы днем спят.

— Совсем они не устали. Вчера они не пели, вы отлично помните, я им играл. А завтра я уезжаю и их не беру с собой, оставляю их вам, чтобы вам не было без меня так скучно. Так дайте же мне еще раз до отъезда их послушать.

— Ну, хорошо, Булька. Только что-нибудь действительно хорошее.

Но здесь они никогда не сходились: когда ему хотелось «Santa Lucia», она требовала «Addio, bella Napoli», и наоборот…

Он пережил мать несколькими годами. Умирая, он надел халат матери и потребовал, чтобы в нем его похоронили. Под лавром сходились они и в могиле сошлись… После смерти матери и сына огромное наследие распылилось по бесчисленным родственникам; но странно: все умирали в ту самую минуту, как прикоснутся к своей части. Остались наконец две племянницы, и они все это поделили, но с такой безрассудной «справедливостью», что серьги, например, делились одна одной, другая другой, чудные кружева разрезались пополам. Так был разорван на две части оставшийся после княгини Воронцовой рукописный том ее записок… Виллу «Маргерита» купил известный английский журналист Лабушер.

Одно время во Флоренции жило довольно много русских. В 1883 году жизнь была очень веселая, беззаботная. Самый гостеприимный был дом старика генерала Краснокутского. Он

был женат на Анне Григорьевне, княжне Голицыной, милой, прелестной женщине, неимоверно толстой, с удивительно милым характером; мать многочисленного семейства, она сама была ребенок, более ребенок, чем самая младшая из ее дочерей. Она прелестно пела; из этого огромного тела выходил голос тонкий, чеканный; ее трудно было слушать без волнения… Старик был хлебосол и обходителен. Когда-то наказный атаман Войска Донского, он сохранил до конца дней молодцеватость осанки и походки, но ум давно сдал в отставку… У них был лучший повар во Флоренции, их завтраки и обеды славились. После стола он обходил гостей с папиросами и сигарами. Как некурящий, я всегда благодарил и отказывался. Он неизменно говорил: «Это мне напоминает, — когда я был атаманом в Новочеркасске, однажды был у меня завтрак, человек двадцать пять. После завтрака предлагаю курить; из двадцати пяти только один оказался курящий, и тот был — классная дама». Я часто у них обедал, и не было случая, чтобы он не предложил, не было случая, чтобы на предложение я не ответил отказом, и не было случая, чтобы на мой отказ он не рассказал мне анекдот о новочеркасской классной даме. Это был настоящий тип «генерала». О нем мог быть написан известный анекдот о том, как едет генерал с адъютантом своим по полю в коляске. Пасется табун лошадей. Генерал:

— Сколько лошадей?

— Тридцать семь, ваше превосходительство.

— Как вы знаете так скоро?..

— Очень просто, ваше превосходительство: я считаю число копыт и делю на четыре.

— Ах, ну да, конечно.

У Краснокутских бывали веселые балы. Во время карнавала 1884 года был очень красивый костюмированный бал. По этому поводу забавный случай. Все, кто бывал во Флоренции в те годы, помнят на вокзале старую Бэппу, продавщицу цветов. Толстая, с курчавыми черными волосами, выбивающимися из-под огромной соломенной шляпы, обходила она поезд, протягивала пассажирам по цветочку, сопровождая подношение певучим пожеланием: «Приятного путешествия! Благополучного возвращения!» Все знали Бэппу. Каково же было удивление присутствующих, когда на балу у Краснокутских вдруг в дверях залы раздалось: «Приятного путешествия! Благополучного возвращения!» Переполох длился недолго. Выяснилось, что это был довольно известный во Флоренции журналист Ломброзо (конечно, менее известный, чем его знаменитый однофамилец профессор). В последний день карнавала, в самый разгар уличного веселья

Бэппа шла по улице Торна-буони в сопровождении большой толпы приветствовавших ее мальчишек. Ее процессия приближалась к набережной, когда из-за угла, наперерез ей — другая процессия, еще более многочисленная, еще более шумливая, и впереди этой процессии — другая Бэппа!.. Впоследствии мы слышали, что настоящая Бэппа нашла это очень бестактным…

Быстро прошла веселая зима 1884 года. Незаметно прошла и флорентийская весна. Уже белая акация на высоком Виале деи Колли отцветала, когда я получил известие, что ждет меня в Петербурге экзамен по русской истории у профессора Бестужева-Рюмина. Пришлось ехать; поехал. Времени на подготовку было мало; тем не менее подготовился хорошо. Только одного никак не мог одолеть: Смутного времени. Так и пошел на экзамен с тайной мольбой, чтобы только не достался мне этот билет. Но должен сказать, что среди фактических данных, которых я совсем не знал, был в этом отделе курса параграф, который очень меня заинтересовал и который был озаглавлен «Роль городов». Это, по-видимому, была глава, которую Бестужев-Рюмин особенно заботливо отделал, мыслями своими по этому поводу и выводами он дорожил… Выхожу на экзамен, вынимаю билет — Смутное время. Начинаю отвечать; дохожу до того места, за которым, чувствую, начинается мой провал. Вдруг он меня останавливает: «Ну, это вы и из гимназии знаете, а вот расскажите мне о роли городов в Смутное время». Я был спасен. Я получил пятерку и уехал в деревню…

Помните ли вы, что такое после экзамена с пятеркою в кармане садиться в вагон? Помните огромный свод вокзального навеса? Световую арку, перед которой пыхтит нетерпеливый паровоз, и за ней простор природы? А помните через два дня после этого приезд в деревню?.. Наверное, помните, не можете не помнить, но я вам все-таки расскажу, только не сейчас, а в одной из глав третьей части моей книги…

ГЛАВА 3
Памяти герцогини Тэк — Коронованные встречи

Однажды, это было осенью 1883 года, я переезжал Альпы Сен-Готардским перевалом в одном из тех прелестных вагонов, нарочно устроенных, чтобы любоваться видами. Два маленьких отделения выходят на общий крытый балкон; балкон на правую сторону, как раз самая красивая сторона, когда переезжаешь из Швейцарии в Италию. Поезд выходит из Люцерна часов в восемь утра.

Я уже сидел в своем отделении, когда увидел подходящее к вагону семейство англичан. Впереди шла дама необыкновенно полная и с необыкновенно прекрасным лицом. «Oh, how steep!» (О как круто!) — сказала она, поднимаясь на ступеньки вагона, в то время как сзади подсаживали ее статный красивый мужчина, румяная девушка и мальчик лет двенадцати. Они заняли соседнее отделение. Как только поезд вошел в горы, мы встретились на балкончике. Общий восторг скоро сближает.

Что это за дивная дорога! Мы огибали Фирвальдштетерское озеро, с которым поезд никак расстаться не хочет, — то уходит в горы, то опять возвращается к его сине-зеленой глади; только каждый раз эта гладь все ниже под нами, а поезд все выше поднимается, и видно, там, внизу, смотрится в зеленую воду «камень Шиллера», а там, с двумя своими арками, часовня Вильгельма Телля… Поезд поднимается кругами, вьется, как ласточка, все выше, выше. Вон внизу виднеется мост, через который мы проезжали десять минут тому назад, а вон над нами мост, на который мы въедем через десять минут. И мы въезжаем, и дальше, все выше, а под нами все ниже опускаются раскинутые в горах и по долинам селения, города — целая географическая карта расстилается у ног наших. А милая белая церковь местечка Флюлен; как приветливо она встает среди зеленой долины, окруженной горами, сама на пригорке; три раза ее огибаем с разных сторон и на разных высотах, а она, приветливая, смотрит и дразнит…

Английский восторг всегда искренен, не боится искренности. Мы с моими спутниками скоро слились в общем восхищении. Это были приветливые, живые люди. В англичанах есть удивительное уменье давать полную искренность и простоту при самых сдержанных формах интимности. Это поражает, в особенности по сравнению с нашими. Есть люди, которые бросаются друг другу

на шею только потому, что они «русские за границей». Сейчас все выкладывается наружу, в полчаса все про всех все знают, мешок выворочен наизнанку. Люди думают, что обходительность есть вопрос содержания; не понимают, что это вопрос формы. Не понимают у нас и того, что откровенность не то же, что искренность; что можно быть очень откровенным и не быть искренним и можно быть искренним, вовсе не откровенничая. У нас откровенность сходит за обходительность и есть своя особенная железнодорожная откровенность. Одна дама в вагоне второго класса однажды всему вагону рассказывала, как она своих троих детей рожала. Какая-то неприличная распашка. У англичан как раз наоборот; и в этом большое отдохновение. Вот мы целый день провели вместе, делились впечатлениями, пребывали в непринужденном общении, а между тем я не знал, с кем говорю, и меня не спросили, кто я такой. Они ехали проводить зиму во Флоренции, и я ехал проводить зиму во Флоренции.

Тем временем поезд мчался. Пошли туннели. Пришлось укрыться от дыма и копоти. Меня пригласили в свое отделение. У них были вкусные вещи; я не остался в долгу — у меня был шоколад из Парижа… Но мог ли я предполагать, что милая молодая девушка, которую я угощал шоколадом, будущая английская королева?.. Скоро выехали на голубой просвет озера Лугано, потом на сине-зеленый просвет озера Комо. Под вечер приехали в Милан. На вокзале мы простились. Вечером еще раз встретились под сводами собора. Ночью я выехал во Флоренцию, милую Флоренцию…

В первые же дни по приезде я узнал, что приехала на зиму двоюродная сестра королевы Виктории, принцесса Мэри, в замужестве герцогиня Тэк. Слушаю описания — похоже на моих спутников. Через два дня был я в театре; смотрю, в королевской ложе — они, и даже на меня смотрят. В это время подходит ко мне старичок герцог Дино: «Мне поручено вам передать письмо». Удивительно, как капризно память выбирает то, что почему-либо вздумается ей сохранить; помню, что на почтовой бумаге было изображение ласточки. Круглым детским почерком было написано: «Мы очень обрадовались, узнав Ваш адрес, надеемся, что Вы нас навестите, мы живем в пансионе Паоли. Ваш маленький товарищ по путешествию». Я пошел в ложу поблагодарить за приглашение. Так произошло мое знакомство с одной из самых удивительных личностей, какие мне в жизни пришлось встретить.

Герцогиня Тэк была двоюродной сестрой королевы Виктории. У Георга IV не было детей; королева Виктория была дочь второго

брата, герцога Кентского; принцесса Мэри была дочерью третьего брата, герцога Кембриджского. Она вышла за морганатического сына одного из принцев Вюртембергского дома, получившего титул герцога Тэк.

Трудно определить, в чем была исключительность этого характера. Мы так привыкли видеть исключительность в том, что человек прибавляет к тому, что дала ему природа; мы всегда спрашиваем, что человек делает, чем интересуется. Конечно, очень важна деятельность человека, но не в одной деятельности человек проявляется, во всяком случае, не весь проявляется. И даже часто человек прибегает к деятельности, чтобы скрыть себя; деятельность является покровом, под которым скрадывается сущность человека. Недаром Ницше сказал, что только когда человек не в состоянии показать, что он может, только тогда показывает он, что он есть. И вот герцогиня Тэк была, и этого довольно для тех, кто ее знал. Она была, то есть она жила; каждую минуту своей жизни она жила — полно, глубоко, и попасть в теченье этой жизни было несказанным преимуществом для человека. Что бы она вам ни уделяла в данную минуту — свое внимание ли, свое сочувствие ли, делилась ли с вами каким-нибудь восторгом или негодованием, она в этой одной минуте жила вся, нераздельно в том, о чем говорила, и для того, с кем говорила. Как она умела привлечь человека, проникнуть в него, и делать это так, что человек ей был за это благодарен. Точно под ласковым солнцем раскрывались лепестки души. И как знала людей! Конечно, я скажу нечто очень не современное в смысле оценки, но если когда-нибудь женщина была рождена, чтобы царствовать, то — она. Она была от колыбели королева. Образ ее остался неизгладимый в моей памяти. Огромных размеров и вместе с тем удивительно гибкая, подвижная и в движениях гармоничная, приветливая. Великолепная гордая голова, большой энергичный рот, как на портретах ее деда Георга III, большие голубые глаза под густыми, очень темными бровями. Широкая в восприимчивости, открытая в симпатиях своих, непосредственная в проявлениях восторга, радости, во всем, что можно назвать положительной стороной жизни, она была сдержанна, тонка и удивительно мило шутлива в критике. Бывало, за большим обедом или на вечере нагнется, даже только голову одну нагнет в мою сторону — и два, три слова упадут, язвительно меткие, но в какой-то мягкой, прощающей оболочке; и сейчас же опять засияет лицо, и все таяло в улыбке. Прощенье, я думаю, самая сильная сторона ее сильной природы. Она глубоко чувствовала зло, но даже негодование, даже личная обида сгорали в улыбке.

Такова была герцогиня Тэк, такою знали ее друзья ее. У нее

было много истинных друзей, больше среди мужчин, чем среди женщин. Я сказал, что есть люди, про которых можно сказать, что они были, не нужно говорить, что они сделали. Нахожу эту же мысль у Шиллера, и как выраженную!

> Есть родовитость и в нравственном мире.
> Низкие люди платят делами,
> дух высокородный — природой своей.

К последним принадлежала герцогиня Тэк.

Ее семейное положение не было совсем легкое. Как она вышла замуж, не знаю; но сама она рассказывала мне, что сватались за нее два будущих короля: Виктор Эммануил Пьемонтский, будущий объединитель Италии, и Оскар Шведский. Она вышла за Тэка. Он был человек недалекий и с совершенно неуравновешенным характером. Вспыльчивый до необузданности, он выбирал жену жертвою своих настроений и, не стесняясь присутствием посторонних, иногда посреди торжественного обеда делал ей сцены. Она покрывала все своей улыбкой, будто ничего не произошло. Он был мелочного характера и снедаем снобизмом. Его полукоролевское происхождение, от Вюртембергского принца, но от матери не королевской крови, вселило в душу его на всю жизнь какое-то чувство роковой непоправимости. Он считал себя жертвою ошибки своего отца. «Только подумайте, — сказал он однажды, — если бы мой отец не женился на моей матери, я мог бы быть Вюртембергским королем!» Королевское происхождение жены только подливало горечи в его малопонятные, но искренние терзания. Все это было болезненно. Он кончил сумасшествием. Я лично вспоминаю с приятностью отменную воспитанность и простоту его обхождения и чарующие формы гостеприимства…

Зато в детях была герцогиня счастлива. Они, три сына и дочь, все унаследовали больше от матери, нежели от отца. Это представители прекрасного, здорового человечества. Средний сын, который больше всех походил на мать, умер лет десять тому назад. Старший женился на дочери герцога Вестминстерского, был одно время военным агентом в Вене. Младший, мой «маленький товарищ по путешествию», женился на дочери герцога Албанского, младшего брата покойного Эдуарда VII. Дочь, принцесса Мэй, теперь английская королева, супруга Георга V.

Я часто видал их в их годы юности и во Флоренции и в Англии, где жил у них в прелестной даче «Уайтлодж» среди Ричмондского леса, которую предоставил им Эдуард VII. Меня

всегда восхищала эта чисто английская атмосфера нравственного здоровья. И какое гостеприимство! Они способны бывали перевернуть порядок собственного дня, для того чтобы устроить мою какую-нибудь поездку; помню, однажды герцогиня сама великолепным своим, знаменитым почерком выписала мне расписание каких-то поездов.

С ним, с Тэком, я обошел все наиболее замечательные лондонские дворцы. Удивительный дом герцогини Беклю с редчайшим собранием миниатюр; дворец герцога Вестминстерского, в котором знаменитый портрет актрисы миссис Сиддонс работы Джошуа Рейнольдса: вдохновенная женщина и вдохновенная кисть. Видел прекрасную картинную галерею в доме Дэдлей; водил нас по ней сын хозяйки дома, ничего в картинах не понимавший.

Мать его, вдовствующая леди Дэдлей, была замечательно хороша собой; в нее долго был влюблен Герберт Бисмарк, сын канцлера, просил ее руки, но напрасно.

Я был у нее на балу. Здесь герцогиня Тэк представила меня принцессе Валлийской, сестре императрицы Марии Феодоровны, впоследствии королеве Александре. С ней трудно было разговаривать, она плохо слышала, а тут еще румынский оркестр. Герцогиня сидела на одном диване с принцессой, подозвала меня знаком; я подошел, поклонился, поцеловал протянутую мне руку, хотя англичане этого не делают: у них целование руки есть знак душевной близости, а не официального уважения; они даже королеве не целуют руку. И вот я увидел, но за румынской музыкой не слышал, как герцогиня что-то про меня принцессе объясняла и при этом подтверждала движением веера по ее руке. Принцесса благосклонно на меня смотрела, и даже все благосклоннее, но что говорила герцогиня, не знаю. Румынский оркестр гудел, веер герцогини становился все убедительнее, глаза принцессы раскрывались все благосклоннее, мои поклоны становились все благодарнее, но больше ничего не помню, да ничего и не было. В это время подошел принц Валлийский, будущий Эдуард VII. Меня представили и ему. Я сказал, что имел уже честь быть ему представленным. Он поторопился сказать: «Конечно, как же, я помню». Я отлично видел, что он не помнит; но я сказал, что это было в Каннах у графини Меренберг. А графиня Меренберг, жена герцога Нассауского, — дочь поэта Пушкина. Как я сказал, что у графини Меренберг, так он сейчас вспомнил; но интересно, что он вспомнил: «Ах да, как же, помню, я был тогда в дорожном пиджаке!» Он действительно тогда вошел извиняясь за свой костюм; во время разговора раза два к нему возвращался и уходил, а все еще извинялся…

Через несколько дней была Garden party (прием в саду) у принца Валлийского. Этим обыкновенно заканчивался лондонский «сезон». Тут я видел единственный раз королеву Викторию. Она была маленькая, толстенькая, в черном простеньком платье, которое на ней сидело широким колоколом. Она шла, опираясь на палку. Ее лицо было красно, глаза, как бы стеклянные, смотрели с удивлением. Я был даже свидетелем интересного момента — когда она поздоровалась с Глад стоном. Она перенесла палку в левую руку и протянула ему правую. Он в то время был в оппозиции, не у дел. Надо думать, что момент в каком-то политическом отношении был особенный; во всяком случае, эту сцену встречи королевы с Гладстоном я через несколько дней видел воспроизведенной во всех иллюстрированных журналах.

У Тэков бывало много музыкантов, в особенности певцов. Аккомпанировал я там довольно странному человеку, некоему Дэме: прекрасный баритон, сам очень красивый, но с повадками авантюриста. Упоминаю о нем, потому что он впоследствии женился на прелестной певице Нордике. С ее именем связан очень любопытный случай. Она сидела на представлении в Байрейте. Кто знает атмосферу священного внимания, царящую в этом храме, тот поймет, что испытали присутствующие, когда во время «Парсифаля» вдруг раздался лай собачонки. На глазах всей публики вывели из залы бедную Нордику с болонкой на руках… Она поклялась, что вернется в Байрейт и заставит забыть свой позор. И действительно, через два года она пела Эльзу перед той же самой залой, откуда ее вывели, и, говорят, пела восхитительно…

Встречал я у Тэков известного в свое время сочинителя популярнейших романсов Паоло Тости. Очень средний музыкант, несерьезный, банальный, он как-то сумел попасть в точку; он ответил музыкальным потребностям людей, для которых музыка была тем, чем, по выражению Державина, была поэзия для царевны Фелицы:

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

Его успех сделала Англия, то есть английские великосветские гостиные; его лавры были более в цене на Олимпе, нежели на Парнасе. Но он имел удивительный дар: без голоса, он пел очаровательно. Увидя это, всякая безголосая англичанка думала, что стоит взять несколько уроков у Тости, чтобы петь, как он. Он

быстро пошел в гору как профессор пения и зарабатывал большие деньги. Этот маленький, невзрачный человек сделал одно из труднейших завоеваний: он завоевал Лондон.

Однако не могу не отметить, что однажды Тости аккомпанировал упомянутому Дэме незначительные итальянские и немецкие вещицы. Вдруг Дэме берет и развертывает перед ним «Мейстерзингеров». Тости встал и уступил мне свое место.

К нему пылала старческою нежностью мать герцогини Тэк, старая герцогиня Кембриджская. Дважды в год Тости приезжал в Лондон, чтобы услаждать старушку. Каждый день приносили ему от нее корзину дичи и корзину фруктов. По завещанию она оставила ему пять тысяч фунтов стерлингов.

Герцогиня Тэк, или, как ее больше звали в Англии, принцесса Мэри, была чрезвычайно популярна. Я несколько раз сопровождал ее на школьные празднества, какие-нибудь «открытия». Как она бывала очаровательна, как умела распространять свою личность и с совершенно ей одной присущей естественностью — ни малейшего усилия. И тут же она — королевское высочество и тут же ее дети облепляют ее, как пчелы вкруг улья…

Почему вдруг вспоминаю такую совсем ничем не замечательную сцену? Во Флоренции, в горах, далеко за Фьезолинским монастырем, по горному хребту мы ехали — она и дети. Вышли и пошли пешком; кипарисы, мирты, лавры и горячий, как в картинах старых сиенских живописцев, горячий закат. Тяжело; устали. Вдруг впереди нас, на краю дороги, высокий англичанин с длинной бородой, сняв шляпу, дожидается:

— Могу ли просить ваше королевское высочество принять чашку чаю и отдохнуть в моем дому?

— Благодарю вас, с удовольствием.

Какая прелестная картина духовно крепкой Англии здесь, в тосканских холмах. Престарелые брат и две сестры принимали свою принцессу. Сколько радости и уважения она встретила. Сколько привета и радушия внесла она. Никогда не забуду кругленький столик, на который она поставила свою чашку. На этом столике были выжжены две красные вишни и зеленый листок. «О, как это красиво! Как это мило! Чья это работа?» Одна из старушек сестер с гордостью сияла…

Герцогиня Тэк умерла в 1898 году. Она погребена в капелле Виндзорского замка.

Через год я был в Лондоне на несколько дней как делегат на конгресс по борьбе с торговлей женщинами. Сыновья, прочитав мое имя в газете, сейчас меня разыскали. Принцесса Мэй пригласила меня завтракать. Ее муж, теперешний король, в то время, при жизни королевы Виктории, носил титул герцога

Йоркского. Они жили в Сен-Джемском дворце. Теперешний король Георг V удивительно похож на своего двоюродного брата Николая II. До такой степени похож, что, говорят, лорд-мэр однажды, думая, что говорит с русским наследником, спросил герцога Йоркского, будет ли он на свадьбе герцога Йоркского?

Завтракала в тот день у Йоркской четы сестра покойной герцогини, великая герцогиня Мекленбург-Стрелицкая с мужем, слепым. Я сидел между ними. Они были удивительно приветливы, хотя видели меня первый раз в жизни (это оказался и последний). Старушка стала изливать мне свои горести по поводу того, что ее внучка, принцесса Ютта, которую я видал в Петербурге, когда она приезжала к своей тете, принцессе Елене Георгиевне Альтенбургской, выходит замуж за князя Мирко Черногорского. Я сказал, что, действительно, брак может во многих отношениях показаться не совсем хорошо пригаданным. Мы потихоньку беседовали, когда вдруг она перегибается через меня к мужу и громко говорит: «Вот послушайте, что говорит князь Волконский». Я должен был во всеуслышанье повторить, что разница рас, предков, воспитания, образа жизни такова, что нужно много любви, чтобы заполнить эту пропасть. Кажется, молодые ответили всем требованиям, которые им предъявляли эти разницы, и живут очень счастливо… Но в ту минуту мне было очень неловко, и я написал Александру Тэку, что, может быть, я сказал что-нибудь, чего не следовало, просил его извинить меня перед его сестрой. Но он мне ответил, что ничего плохого не было; что даже хорошо; что старик очень гордится своей породой.

После завтрака был разговор с герцогом Йоркским о России, то есть, скорее, о русском дворе. Для них, живущих открыто, в постоянном общении с людьми, многое было непонятно, непостижимо в укладе нашей придворной жизни. Я сказал ему, что наш государь не так виноват в этом, что тут играют роль уже сложившиеся привычки, что, собственно, император Александр III завел эту систему затворничества:

— Вот именно, совершенно верно, — система затворничества, — поддержал меня герцог.

Что может быть более непохоже, чем Англия и Россия? Мне часто казалось, что Россия есть прямо опрокинутое отраженье. Возьмите хоть это: у нас монархия была государственной реальностью — она превратилась в принцип, в нечто неосязаемое; в Англии монархия только государственный принцип, а она реально существует.

Я в Англии мало бывал, всего три раза и на очень короткое время. Но нигде, ни в одной стране, как в Англии, ни с кем, ни с какими людьми, как с англичанами, я не чувствовал всю

несуразность и ложь нашего русского государственно-общественного уклада. Как ясно я ощущал всегда, в разговорах с ними, что для них Россия — это огромное неизвестное. Что знают они о России? Они видят легкую пену русской культуры и тех немногих, кто ездит за границу; но разве они подозревают глубокое море и темное дно, что под этой пеной? И не только море населения разумею я и дно этого населения, и море русской души и темное дно, вернее, бездонье этой души. Что они знают об этом? А и в числе тех немногих, которых они знают, много ли таких, которые действительно культурны? И наконец, разве эти немногие единицы суть представители? Разве представитель тот, кто готов отказаться от сообщества? А можно ли не отказываться от того, с чем не согласен? И это я ощущал всегда за границей, и никогда так, как в Англии.

И какая двойственность тут в психологии, какая мучительная двойственность! Когда на меня за границей смотрели не как на одного из многих, не как на представителя, мне было неприятно за родину, оскорблялся мой патриотизм; когда меня принимали за представителя, то есть приобщали меня к ответственности народно-государственной, мне было неприятно за себя. Одним словом, если меня считали культурным исключением, во мне обижался патриот; если меня признавали соучастником, во мне возмущался человек. И поверх этой мучительной двойственности еще третье ощущение, как таящаяся в глубине души тайна, — любовь к России, той России, которой они, иностранцы, не знают и никогда не узнают. Можно ли знать Россию, когда не знаешь русской деревни, можно ли о ней суждение иметь? Можно ли любить Россию, если не любишь русскую деревню, да вообще неспособен деревню любить? В этом, мне кажется, наибольшая причина той пропасти, которая лежит между иностранцем и Россией. И не по отношению к одной только России это есть пробел; я думаю, что вообще знают только половину жизни те, кто не знает настоящей деревни. Говорил я как-то о деревне одному моему приятелю-французу; он не разделял моих вкусов и восторгов и воскликнул:

— Нет, три недели Биаррица — вот все, что я могу вынести в смысле деревни.

— Да разве вы не устали от бульваров? Не хочется вам иногда увидать лунную ночь?

— Да, но у нас великолепные лунные ночи бывают в Париже.

— Да, но когда они освещают стены и мостовую… Неужели вам не хочется деревьев?

— Но у нас прекрасные деревья в Булонском лесу.

— Так ведь Булонский лес же не природа.

— Виноват, это именно такая природа, какою она и должна быть.

Не знаю, правильно ли я смотрю, но мне кажется так — что спорить о красотах природы и преимуществах деревни со всяким можно, если вообще у человека есть охота к спору; но о России говорить с людьми так чувствующими нельзя. И я не говорил. Слушал только, как после нарядного обеда нарядная дама, обмахиваясь веером, или господин во фраке с рюмкой коньяку, зажатой двумя пальцами, поверхностно прикасаются к русской поверхности; слушал и думал:

А там, во глубине России,
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
Да выгибаются дугою,
Целуясь с матерью землею,
Колосья бесконечных нив…

Этой России иностранцы не знали. Да ее уже и нет; «вековая тишина» нарушена, и «глубина» обнажена. Да, то, что Россия есть, того иностранцы не знали; они знали то, что Россия им показывала, и это была загадка, необъяснимая. И от объяснений в разговорах с иностранцами я уклонялся: с одной стороны, слишком много было необъяснимого, а с другой стороны, слишком много было такого, от чего хотелось откреститься.

Я знаю, многие будут негодовать, читая такие признания; скажут, что если искренность похвальна, то умолчание приличнее. Нет, я думаю, что слишком долго мы боялись искренности. Боялись потому, что каждое искреннее слово у нас клеймили отсутствием патриотизма. Когда человек каялся, обращал критику свою на своих же, когда он, наконец, отказывался от своих, его винили за то, что он это делает; кричали, что он не патриот, что он не умеет себя в руках держать, что он лишен человеческого достоинства. А приходило ли кому-нибудь из кричащих в голову, как тяжело отказываться, как больно покаяться, как мучительно не только говорить, но решиться говорить? Скажут, что и в себе нести нелегко, что и в молчании есть крест, и в приятии есть подвиг. Но я не так смотрю, и если по мнению некоторых такое закрыванье глаз патриотично, в чем сомневаюсь, то, во всяком случае, оно нечеловечно. Не человечно изображать не то, что есть, показывать фасад и скрывать задворки; не человечно покупать чужое признанье ценою чужого незнания.

Не место, может быть, здесь, на страницах, повествующих о странствиях, останавливаться над этими вопросами; они, конечно, всплывут, когда подойдем к следующей части этой книги — к «Родине». Там все всплывет, и, надеюсь, с корнями всплывет. Но не мог не остановиться на мыслях, которые всегда были докучливыми спутниками моими в странствиях не только морских и сухопутных, но и в странствиях по житейским волнам. Так что не совсем «не место» им на этих страницах: они у места на всякой странице моего жизнеописания. Может быть, не время? Вот с этим более согласен. Не время, описывая то, что было двадцать лет тому назад, говорить о том, чему сейчас подводятся итоги. Но и не заключительное что-нибудь давал я в предыдущих строках, а лишь коснулся тех неясных мыслей, смутных ощущений, с которыми жил тогда. Не скажу, чтобы последние события их прояснили; своим прояснением они обязаны собственному росту, а современность только дала им подтверждение. Да, сейчас мы стоим перед Европой разоблаченными: стоящие или нестоящие, во всяком случае, не переоцененные, и каждый — отвечающий за себя, не за других, — круговая порука кончена. Последние остатки чувства коллективности ссохлись, по крайней мере во мне, и никогда индивидуальное сознание не было сильнее, чем сейчас.

Хочу здесь сказать о некоторых других царственных особах из иностранных, с которыми пришлось встретиться.

В Гмундене, в австрийском Зальцкаммергуте, я проводил осень 1889 года. Там имел над озером свой замок герцог Кумберландский, сын последнего короля Ганноверского. Известно, что в 1866 году, во время австро-прусской войны, Ганновер объявился на стороне Австрии. Когда Пруссия победила, она присоединила Ганновер. Престарелый слепой король был низложен. Сын его поселился в Гмундене. Он был женат на датской принцессе, Тире, сестре императрицы Марии Феодоровны. Я бывал у них. Она была очаровательна. Мать многочисленного семейства, она сохранила что-то детски-неземное; она давала впечатление, что у нее невидимые крылья за плечами… В огромной зале, где стояло два фортепиано, стояла также большая низкая тахта, на которой после обеда отец с восемью детьми резвился, катался, заставляя их кувыркаться и оглашать залу неистовыми визгами. Среди этих визгов мы с принцессой Тирой играли на двух фортепиано. Однажды она играла на своем инструменте рубинштейновский известный романс «Une soiree a St. Petersburg». Я стал на своем инструменте подыгрывать в канон. Вышло очень красиво. Впоследствии я обработал эту вещь и посвятил ей. Французский издатель Аммель

в Париже издал мою обработку… Много лет спустя однажды в одном из петербургских институтов был концерт; на программе стоял этот номер: «Романс Рубинштейна для двух фортепиано, обработка кн. С.М. Волконского». Присутствовала на концерте императрица Мария Феодоровна; она сказала, просматривая программу: «Я знаю, это посвящено моей сестре»…

Покойный король Ганноверский, отец герцога Кумберландского, был близок с Дельсартом, который намеревался ему посвятить свою никогда не вышедшую книгу о мимике и вообще о выразительности человека. Когда я писал своего «Выразительного человека», в котором рядом с изложением системы Дельсарта старался по возможности дать сведения о его жизни, ввиду скудости оставшихся о нем сведений я обратился к герцогу Кумберландскому с просьбой разрешить мне, в случае если в архиве покойного короля осталось что-нибудь, воспользоваться этими данными… Книга была готова, надо было ее выпускать; она вышла. Через месяц после выхода ее в свет получаю целый портфель великолепно переписанных документов; между прочим еженедельные отчеты об успехах одной певицы, которую король послал к Дельсарту в обучение в Париж. Ничего нового, для моей книги ценного, я не упустил. Но мне совестно было послать герцогу экземпляр книги, в которой не упомянуто о его любезном внимании; совестно было и написать ему, что я не дождался его ответа. Здесь приношу мое извинение и выражаю свою признательность…

Там же, в Гмундене, жила и мать герцога Кумберландского, вдова последнего Ганноверского короля, сестра нашей великой княгини Александры Иосифовны. Красивая и милая старушка. Несколько раз у нее обедал. Там всегда бывало семейство графа Прокеш-Остена. Он был женат на известной в свое время актрисе венского Бургтеатра Фредерике Госман, в общежитии слывшей под именем Фифи. Она уже давно оставила сцену, но выступала в благотворительных концертах. Большой талант, много юмора, очень много настоящего лиризма. Но, мать взрослых дочерей, она не могла забыть, что когда-то ее амплуа было «ingenue»; она молодилась и жеманничала. Это стало болезнью, и я слышал, что она кончила сумасшедшим домом. Бедная Фифи Прокеш заслонила собой Фредерику Госман…

Еще жила в Гмундене, в прелестной вилле над озером, известная, в жизни Вагнера сыгравшая роль г-жа Матильда Везендонк. Очень выдающийся человек и как музыкантша, и как мыслитель. Она не была хороша, но у нее были удивительные руки и прекрасны были движения рук. У нее был старый муж, похожий на Вотана, и сын, выдающийся ученый по геологии.

Матильду Везендонк я не забуду. В ней было много мудрости, что-то спокойно-осеняющее. Ее благоволение было ценностью, и она знала ему цену…

Я довольно часто видел старушку великую герцогиню Баденскую Луизу. Она была дочерью императора Вильгельма I. Худая, высокая, впечатлительная, с болезненной чрезмерностью в выразительности. Она любила рассказывать, и рассказы ее если и не были страницами истории, то были интересными заметками на полях страниц истории. Но она была всегда элегично настроена, всегда со слезинкой в глазу. Я старался иногда разбить это настроение, но мне это не удавалось. Помню, однажды говорили о воспоминаниях, портретах, архивах. Желая пустить в эту элегию хоть луч улыбки, я захотел рассказать ей забавный случай. В Берлине однажды я навестил знакомого американского корреспондента. На дверях его квартиры рядом с его именем стояло другое и значилось: «Корреспондент Американского генеалогического общества».

— Что это значит? — спросил я моего знакомого.

— Мой сожитель — корреспондент Американского генеалогического общества.

— Это я вижу. Но что он делает?

— Он разыскивает в Европе предков нынешних американцев.

— Хорошо зарабатывает?

— Вы себе представить не можете, что некоторые американцы способны заплатить, чтобы только узнать, кто была их бабушка.

— И удачны поиски?

— Всегда удачны, потому что, например, он телеграфирует своему клиенту: «В гамбургской публичной библиотеке не нашел Елизавету Джэн под 1754 годом, но в роттердамской ратуше нашел Анну Джэн под 1773 годом». Ответ: «That's it, go on» (Так и есть, продолжайте).

Это я начал рассказывать великой герцогине. Но когда я дошел до того места, где говорится о жертвах, на которые способен американец, чтобы узнать, кто была его бабушка, она, покачивая головой, воскликнула: «Как это трогательно!..» Конечно, я своего рассказа не продолжал.

Однажды я был приглашен осмотреть портреты баденского дворца. Смотрителю дворца было поручено мне все показать. Пока великая герцогиня давала нам напутственные наставления, в соседней зале целое заседание благотворительного общества дожидалось августейшей представительницы. И когда я кончил свой осмотр, опять благотворительное общество дожидалось, потому что августейшей представительнице хотелось знать мои впечатления…

Ее дядю, великого герцога Веймарского, я видал в Бадене. Он считал долгом поддерживать литературно-музыкальные традиции веймарского двора времен Гёте и Листа, но это ему мало удавалось. Он был очень любим, но пользовался репутацией человека столь же добродушного, сколько недалекого. Однажды, обходя тюрьму, он спросил заключенного, к чему он приговорен.

— К пожизненному заключению.

— Ну, — сказал ему герцог в утешенье, — от души желаю вам, чтобы это был ваш последний год.

У него была дочь, очень образованная, но очень некрасивая. Будучи замужем за братом великой княгини Марии Павловны, принцем Иоганном Мекленбург-Шверинским, она бывала в Петербурге. В то время, в восьмидесятых годах, на французской сцене Михайловского театра играл старик Итманс — с красным носом и большими круглыми стеклянными глазами. Принцессу Мекленбургскую прозвали «la princesse Hytmans». Сходство было поразительно. Знала ли она об этом? Вряд ли. Но Итманс иногда с комическим отчаянием поднимал глаза к небу и восклицал: «О, это роковое сходство!»

Кроме английской королевы я встречал еще двух. Раз я был у вдовствующей итальянской королевы Маргариты. Я жил в Риме уже много лет, но в обществе бывал мало, ко двору не представлялся. Однажды, в 1912 году, приехал в Рим по моему приглашению наш вокальный квартет — Сафонов, Чупрынников и братья Кедровы. Они пели у меня на музыкальном вечере с огромным успехом. Княгиня Мария Владимировна Барятинская была очень близка к королеве Маргарите и рассказала ей про русский квартет. Королева пожелала их услышать у себя. Пригласили по этому случаю и меня. Королева Маргарита всегда славилась как знаток музыки, литературы, вообще искусства. Она славилась и обходительностью своей, живостью разговора. Она приняла нас приветливо, слушала наших певцов с искренним восхищением. Пригласила и меня сыграть; я в то время работал много и мог безбоязненно ответить на приглашение; сыграл «Прелюдию» Глиера и «Баркаролу» Рахманинова.

В связи с этим вспоминаю дивное утро. Я пригласил наших певцов, также известную нашу певицу Петренко, которая приезжала тогда с дягилевской оперой и тоже пела у меня в тот вечер, — пригласил их и еще кое-кого завтракать в известном ресторане на Палатинском холме. Чудный вид из стеклянного павильона на палатинские развалины, на Колизей и на весь Вечный город… Во время завтрака певцы начали петь; в стеклянном павильоне как звучало! Все слушали; умолкли вилки и ножи, лакеи перестали сменять тарелки и подавать блюда. Все

замерло, и разливалось в итальянском воздухе «Вниз по матушке по Волге…».

И еще видел я одну королеву. В последних числах июля 1914 года, значит, накануне войны, я видел королеву Бельгийскую, супругу короля Альберта. Я навещал моих друзей Барятинских в Швейцарии, над Глионом, в местечке Valmont. Узнав, что в той же гостинице живет королева Бельгийская, я справился, кто при ней. Оказалось, моя хорошая знакомая графиня Шимэ. Я навестил ее; она мне сказала, что непременно устроит, чтобы я встретился с королевой. Она известила меня вечером, что я приглашен пить чай к королеве на другой день. Когда я зашел к графине в назначенный час, она мне сказала, что у королевы сильно болит голова, что она не сможет принять меня у себя, но сама выйдет к нам… Она мила, нежна, крайне застенчива; в ее глазах много мысли, и много чувства в ее голосе.

Мы сидели на балконе, говорили о пустяках. И не думал я в ту минуту, что через несколько недель начнутся события, которые захватят и ее в свой страшный ураган, что этому нежному существу предстоит пройти через величайшие испытания и стойкость, с какой она их перенесет, заслужит любовь своего народа и удивление всего мира… Мы говорили о том о сем, также о Далькрозе, который дал в Брюсселе, во дворце, демонстрацию со своими ученицами, и дети королевы принимали участие в уроке. Мы говорили о том о сем, но над озером гудел аэроплан…

Я ничего не слышал о моей приятельнице графине Шимэ за все эти годы, но знаю ее как прекрасный характер с высоким понятием о долге и преданности. За всю войну и дальше я видел пред собой образ этих двух женщин, связанных столь тесными узами высокой дружбы. Одна — нежная, готовая приять всякий крест ради своего народа; другая — сильная, оберегающая ее для детей ее, для ее народа, для ее славы. Мысленно видел их в окопах, в дыму, на пепелищах; видел их склоняющимися над ранеными и над ними развевающиеся знамена…

Мы сидели на балконе, пили чай. Но я видел перед собой два замечательных характера. Королева, по праву решающая, приказывающая, была как ребенок, готовый следовать велениям высших сил; подруга, по обязанности послушная, была скрытая оберегательница, незаметная советчица. И в которой было уважение, в которой была благодарность? В обеих — и то и другое…

Как крепко натянутый шелк, лоснилась гладь голубого озера; жарко было на балконе под опущенной парусиной. Гудел аэроплан…

Вот мои воспоминания о некоторых из коронованных особ, с

которыми встречался. Вспоминается мне одна моя старая тетушка, княгиня Елена Павловна Кочубей, сестра моей бабушки. Она была во время Александра III обер-гофмейстериной: очень любила все придворное, прямо можно сказать, дышала титулованным воздухом. Однажды, прощаясь с моей сестрой, с которой они провели вместе несколько месяцев в Риме и в Германии, она сказала: «Итак, моя милая, ты, значит, видела Папу, королеву Ольгу и императрицу Августу. Знаешь, что для первого путешествия это уже очень недурно». Кто чего ищет в путешествии. Я не искал, но, когда случалось, с интересом изучал всякий «человеческий документ», попадавшийся на пути моих странствий.

ГЛАВА 4
Старый медальон

Как-то раз в 1889 году обедал в гостинице за табльдотом. Входят в столовую две старые англичанки; одна, высокая, худощавая, шла впереди, надменно глядя поверх людей; другая, маленькая, одутловатая, следовала за ней, боязливая, скромная.

— Посмотрите на эту парочку, — сказал я моей соседке.

— Что вы думаете, они вкусили сладость жизни? — спросила она с лукавым взглядом.

— Я думаю, маленькая вкусила, и оттого на ней печать смущения.

Почему-то стал думать о моих «сестрах»; целая история сложилась в голове; но никогда образы не определялись со сколько-нибудь осязательной точностью. В 1894 году, возвращаясь из кругосветного путешествия, остановился в Константинополе, где видал часто приятеля моего, бывшего товарища по университету, Алексея Александровича Смирнова. Он мило писал стихи, иногда рассказы; имел успех красивый рассказ из византийской истории «Склирена». Так это за ним и осталось; когда спрашивали, какой Смирнов, говорили: «Склирена». Однажды за завтраком в турецком ресторане в Стамбуле я рассказал ему эпизод моих двух сестер, как они у меня в голове обрисовались.

— Что же ты не напишешь?

— Никогда таких вещей не писал, не знаю, как взяться.

— Уступи мне, я напишу.

— Пиши, но оставляю за собою право тоже написать.

— Ну, отлично, — конкурс.

Когда вернулся в Петербург, получил письмо от Смирнова: «Сестры» начаты и пишутся легко. Это меня подзадорило; сел за работу и в две недели написал. Рассказ был напечатан в декабрьском номере «Вестника Европы» за 1894 год.

Смирнов свою повесть перенес на русские нравы (моя протекает во Франции); она была напечатана в «Русском вестнике» много позднее, с объяснительным вступлением, в котором, не называя меня, он отклонял от себя авторство замысла. Привожу здесь этот мой единственный опыт в беллетристике. Знаю, что он юн, в нем все недостатки, свойственные этому преимуществу. Но, во-первых, он слился с моими странствиями; во-вторых, мне казался он интересен как пример развития литературного вымысла из ничтожного

реального случая.

В лавочке мадам Омэр было жарко, почти душно. Длинные лучи заходящего солнца проникали сквозь грязное стекло и, пронизав насквозь кровавые листки стоящих на подоконнике колеусов, вливались в комнату, скользя по груде всякой рухляди и поломанного домашнего скарба. Мухи, обезумелые, бились об окно, и в затхлой комнате стояло знойное жужжанье.

Антикварная лавочка в провинциальном захолустье имеет особенно притягательную силу: сюда еще не проникал хищный, но холодный взор комиссионера-оценщика; хозяин устанавливает цены на самых невероятных началах, часто противоречащих всякому историческому или художественному мерилу, и так называемый «случай», который в глазах истинного любителя удесятеряет ценность самого ценного предмета, возможен здесь чаще, чем за зеркальными стеклами столичного антиквара. Вот почему, попав на несколько недель в глухой городок Нижних Пиренеев, я почувствовал сильный прилив знакомых вожделений, когда на второй же день приезда увидел вывеску: «Curiosites». Прикрыв свою художественную алчность личиною скучающего туриста, я перешагнул через порог лавочки Омэр.

Тучная хозяйка, с очками на самом кончике носа, вязала, сидя за прилавком, и через чулок и очки читала трепаную книгу; мой приход не прервал ни того, ни другого из ее занятий; она лишь на секунду подняла глаза и, глянув на меня сверх очков, снова уткнулась в засаленные страницы. Я осмотрелся и скоро убедился, что моей алчности не на чем разыграться: лавочка была из тех, где вещи старые, но не старинные. Из всего сваленного здесь хлама мало что восходило далее тридцатых годов и эпохи Людовика-Филиппа. Большинство же вызывало в памяти то ужасное время середины нынешнего столетия, когда убранство жилищ представляло какой-то нескладный выкидыш от скрещивания «готики» с «империей». Я собирался уходить, когда из небольшой витрины, среди старых брошек, колец и т. п. драгоценностей, мне бросился в глаза медальон: тончайшей работы миниатюра изображала женскую головку в высокой пудреной прическе; золотой ободок вокруг портрета заканчивался вычурной раковиной над головою пудреной красавицы.

Как противоречив иногда бывает дух времени с тем впечатлением, которое производят на нас оставшиеся от того же времени произведения искусства! Не странно ли, что таким тонким, нежным благоуханием веет от всех предметов, в которых дошла до нас смрадная эпоха Людовика XV?

Я открыл витрину, робко глянув на хозяйку: она меняла спицу, и по ее сосредоточенному спокойствию я понял, что в ее

глазах я был посетитель не из подозрительных. Я вынул миниатюру — она была поразительно хороша, и с одной стороны как будто можно было различить подпись. В лавочке начинало темнеть, и я со своей находкой вышел на порог. Только направил было медальон в свет последних солнечных лучей, как на него надвинулась густая тень: кто-то подошел ко мне. Я поднял глаза: в широкополой шляпе передо мной стояла длинная фигура моего приятеля, старого нотариуса, по приглашению которого я, собственно, приехал в этот городок.

— Ага, вот вас что занимает! — воскликнул он, не отвечая на мое приветствие. — Медальон Кастель дю Пик!

— Как вы сказали? Медальон…

— Кастель дю Пик.

— Никогда не слыхал такого художника.

— Это не художника имя, а тех, кому медальон принадлежал.

— Интересная вещица.

— Да… А знаете ли, что еще в десять раз интереснее те события, которые вокруг нее сосредоточиваются? Этот медальон — ценнейший документ семейной хроники.

— Как же его решились выпустить из рук?

— Да для последней его обладательницы было бы истинным мучением, если бы она была вынуждена сохранить его.

— А наследники?

— Наследников нет.

— Ну, уж я вижу, что такое: несчастная любовь и конец знаменитого рода; иссякнувший ключ аристократической крови, а этот медальон — один из цветков геральдической смоковницы?

— Странно, — задумчиво произнес нотариус, — даже теперь, когда уже все кончено, эта грустная история вызывает усмешку.

Скорбь, которая проникала эти слова, была настолько несоразмерна с моей, в сущности, весьма невинной шуткой, что я даже не извинился; я понял, что вздох сожаления по поводу смеси смешного и грустного относился не к настоящему, а к чему-то, что осталось где-то в далеком прошлом. Но в далеком ли?..

— А вы знали ее?

— Кого?

— Обладательницу.

— Да, я знал… их… обеих.

— Как — обеих?

— Так, их было две. То есть обладательница, если хотите, одна; но их трудно как-то разделить в памяти: они были так неделимы в жизни. И удивительно при этом… Ах, вы, пожалуйста, извините мое замечание насчет усмешки, оно совсем не метило в вас, но, вы понимаете, эти два существа были

поставлены в такие необыкновенные отношения друг к другу. Внешние условия жизни сковали их узами обязательного и довольно комического сожительства, а весь внутренний духовный мир каждой из них молчаливо, но настойчиво требовал разрыва… И он пришел… Тихо, но трагически…

— Весьма загадочно звучит все это.

— Они для многих и были загадками.

— Родственницы?

— Сестры… Да что мы тут стоим в дверях? Или хотите купить? Положите пока, не убежит; пройдемтесь лучше.

Я вернулся в совсем уже темную лавочку, положил медальон в витрину, захлопнул крышку и вышел на вечерний простор.

Солнце уже село, но заря еще пылала; стрельчатые тополя, рассекая небесное зарево, дрожащей листвой трепетали в легком воздухе, а от развесистых каштанов стлался мрак и тяжелыми тенями ложился на истомленную землю.

Мы потихоньку двинулись. Мой спутник был задумчив, но сквозь его молчание я угадывал, что он думает все о том же.

— Так вы были знакомы? — переспросил я.

— Как же. Да если бы вы приехали года три, четыре тому назад, и вы бы познакомились: это был единственный дом, где сходились по вечерам.

— А где они жили?

— Они давно как переехали в город и жили в небольшом домике на площади, а прежде — вон видите, там, вдали… — И по направлению его костлявой руки я увидел на последней полосе багрового заката высокие гребни старинного замка в стиле Франциска I. — Это было их поместье, замок Кастель дю Пик; теперь он принадлежит некой мадам Пюжо.

— Что же, продали?

— Разорились…

— А сами они?

— Что?

— Умерли, уехали или…

— Разъехались…

— Где же они сейчас?

— Не знаю, мы ничего о них не слыхали больше с тех пор.

— С тех пор как что?

— С тех пор как… А вас, кажется, заинтересовали мои «сестры»?

— Признаюсь.

— Знаете что? зайдемте ко мне. Я ими много занимался, даже записал кое-что; могу вам рассказать.

Я тотчас же согласился, и мы повернули в сторону его дома.

Через десять минут мы сидели на деревянном балконе в палисаднике. Перед нами стоял деревенский ужин: овечий сыр и бутылка местного вина. Мой хозяин притащил из комнаты и разложил на столе связку бумаг и, заменив широкополую шляпу бархатной ермолкой, принялся подыскивать свои документы.

Служанка засветила лампу: серые бабочки заметались над столом и льнули к матовому шару.

Документы были разобраны, и хозяин начал рассказывать. Он был очевидцем большинства событий, о которых говорил, многое слышал от других — очевидцев же, а ту невидимую связь событий, которая бывает скрыта от посторонних взоров, он благодаря хорошему знанию людей и верному чутью угадывал и восполнял с удивительною проницательностью. Он говорил живо, картинно, заметно воодушевлясь.

Мы просидели целую ночь, и под немолчный звон кузнечиков, прерываемый лишь изредка боем городских часов, я услышал странную историю.

I

— Видели ли вы когда-нибудь двух сестер, более непохожих друг на друга?

Такой вопрос неизменно ставился всякому новичку, когда по понедельникам, часу в одиннадцатом вечера, гости обеих графинь Кастель дю Пик гурьбой высыпали на крылечко гостеприимного дома и по провинциальному обычаю начинали провожать друг друга по домам.

И в самом деле, трудно было бы подыскать более полное несходство.

Сухая, длинная, с виду черствая, со строгим выражением на худом лице, обрамленном черной кружевной косынкой, такова представлялась старшая. Она держалась всегда навытяжку, несмотря на свои пятьдесят лет; никто не помнит, чтобы, сидя за пасьянсом или тасуя карты, она хоть раз облокотилась о высокую спинку старинного резного кресла, в котором принимала гостей.

Младшая, лет на пятнадцать моложе сестры, была маленькая пухлая особа, с широким белым лицом, на котором с трудом можно было подметить какой-нибудь намек на выражение; лишь изредка, как зыбкая тень, по ее рыхлым чертам скользило как будто боязливое сознание собственной немощи пред всеобщим превосходством. В то время как сестра восседала на высоких прямых креслах, она, робкая и застенчивая, предпочитала низенькие, мягкие: уходила в них и часами просиживала за

вязаньем нитяных кружев. Последнее было для нее почти обязательным занятием: она страдала чем-то вроде болезни осязания; в особенности если была сколько-нибудь взволнованна, ее руки не находили места, она ко всему прикасалась, трогала, и притом как-то вскользь, точно предметы обжигали ее, вот почему она никогда не расставалась со стальным крючком: это была единственная работа, имевшая сосредоточивающее влияние на ее осязание, всегда стремившееся разбросаться, рассыпаться. Пасьянса, этого любимого занятия сестры, она не могла раскладывать: вид пестрых карт ослеплял, ошеломлял ее, она начинала спешить, как будто боясь, что карты убегут или по своей воле переменят места, и через пять минут теряла способность соображать, а нервные руки переставали повиноваться. Нет, она отказалась от карт, и только иногда, в минуту полного душевного спокойствия, она их подбирала по мастям.

Однако не нужно было быть особенно наблюдательным, чтобы заметить, что та печать несходства, которую природа наложила на эти два существа, проходила дальше и глубже, чем только внешний облик и поверхностные житейские привычки.

С первого взгляда поражали в старшей выработанность приемов, сознательность всех ее движений, всех ее речей; за малейшим словом чувствовался целый кодекс принципов, обнимавший все формы жизни, объяснявший все явления. Иной раз можно было даже подумать, что этот кодекс был предусмотрительно составлен ею еще до появления на свет и что, вступив затем в жизнь, она с первого шага пошла по готовой уже системе. Ее мироздание стояло на незыблемом основании, было прямолинейно, непреклонно, без уступок.

В младшей поражало полное отсутствие какой-нибудь выработки, каких-нибудь не только сознательно воспринятых принципов, но хотя бы установившихся привычек мышления. Прошлые события жизни как будто бы ничего не прибавили к ее взгляду на вещи, не дали ей никакого балласта; в ней не подмечалось ни малейшего запаса какой-нибудь подготовительной работы; всякое явление жизни должно было так и остаться недостроенным.

Но и это не все. Помимо разницы во внешнем облике, помимо разницы в характерах наблюдателю не могла не броситься в глаза и еще одна разница, иного порядка, разница в общественном положении. Это покажется смешным в применении к двум сестрам, живущим вместе, а между тем это верно. Если бы вы не знали, что они сестры, и где-нибудь встретили их — на гулянье или на улице, — вы не только подумали бы, что они из разных

слоев общества, вас бы удивило, что они могут быть знакомы, до такой степени у них стояло написанным на лице: у одной — что она не желает быть знакома «со всяким», а у другой — что она не смеет быть знакома «с некоторыми». Но решительно между какой-нибудь старой вдовствующей маркизой и ее компаньонкой меньше разницы, чем было между старшей и младшей сестрой.

Конечно, в прошлом у каждой из них были события, достаточно оправдывавшие все эти неравенства; но в какой степени их взаимное положение было следствием различия характеров и в какой степени сами характеры выработались под влиянием раз установившихся отношений — кто может сказать? Кто проникнет мыслью вечное взаимодействие явлений, кто разберется в запутанных переплетениях душевных струн с цепями жизни и кто с уверенностью скажет: «Вот причина, а вот следствие»?

Как бы ни решали эти вопросы великие мыслители, наши добрые друзья недолго останавливались на психологических загадках; но они любили задавать их другим.

— Вот вы увидите, — опять-таки неизменно повторялось каждому новичку, — после обеда я вас поведу, и вы увидите. Я вам ничего не скажу, только что одна — вдова, а другая — старая дева, а когда мы выйдем, вы мне скажете — которая кто.

И как только гости были на приличном расстоянии от дома, так немедленно гурьбой обступали новичка:

— Ну, которая вдова?

— Конечно, старшая, — не запинаясь отвечал новичок. Гости, с жадностью ожидавшие ответа, поспешно перемигивались и, подталкивая друг друга локтем, еще сильнее наседали.

— Ну, хорошо, постойте; а вот что скажите: которая Марта, а которая Аделаида?

— Конечно, старшая — Аделаида.

— Ну, так и есть! — То есть неизменно всякий ошибется. И с громким хохотом и восклицаниями, размахивая руками, гости, повернув спину новичку, рассыпались по площади, корчась от давно сдерживаемого смеха; потом вдруг повертывались к сконфуженному товарищу и торжественно возвращались к нему, оглашая воздух поздравлениями и рукоплесканиями. И это повторялось почти каждый понедельник, потому что городок хотя и маленький, но стоит как-то на дороге, и всегда кто-нибудь да заглядывал.

Так расходилась веселая компания, провожая друг друга по домам. И долго еще в пустых и сонных улицах гулко раздавались то смех, то говор, то опять рукоплескания.

— Должно быть, опять к нашим графинюшкам какая-нибудь

столичная знаменитость приехала; как провожают! — говорила аптекарша, укладывая спать своего супруга…

Да, ни один новичок еще ни разу не отгадал. Да как же было не ошибиться, когда при входе в гостиную его прямо подводили к старшей, ей представляли? И, надо сказать, этому обряду представления она умела придавать особенную торжественность: это не было простое ознакомление — это было искус, своего рода посвящение, необходимое для приобретения права бывать в доме. «Удивительно, — говорили ее друзья, — как графиня Марта, с обычными своими посетителями такая обходительная и непринужденная, в этих случаях как будто принимает роль на себя». И действительно: она на эти несколько минут вдруг становилась принцессой. Она вставала с кресла, все следовали ее примеру, и тогда один из друзей подводил и называл нового гостя, она задавала ему несколько совсем ничего не значащих вопросов, изъявляла ему надежду, что они будут иметь удовольствие видаться, затем легким наклонением головы давала ему отпуск и тут же, как бы спохватившись, неизменно говорила: «Сестра, представляю вам такого-то». Гость кланялся, графиня Марта садилась на свое место, и это служило сигналом для других. Тот холод, который несколько секунд царил в гостиной, мгновенно пропадал среди непринужденной болтовни, шуток и смеха.

Ну как же было не ошибиться? Ясно, что старшая была хозяйка и глава, а при французском обычае говорить «мадам» всем особам известного возраста, не могло и в голову прийти тому, кто у них бывал в первый раз, что она была девицей, а младшая была вдова. А между тем это было верно: графиня Аделаида Кастель дю Пик вот уже два года как была мадам Ворниш. В этом, конечно, крылась основная из фактических причин, обусловливавших различие обеих сестер. Замужество положило сильную печать не столько на характер графини Аделаиды, сколько на то положение, в какое она сама себя ставила в отношении сестры.

Но для того, чтобы это хорошенько понять, надо иметь в виду и личность ее мужа, и трагические обстоятельства ее кратковременного супружества.

Это было на третьем году после их переезда в город. Один из обычных гостей кастельских понедельников спросил однажды графиню Марту, может ли он привести ей в следующий раз некоего Борниша, бывшего депутата, желающего поселиться на покой в недавно приобретенном поместье.

— Мосье Борниш? — медленно переспросила сухощавая графиня, подняв одну карту над разложенным пасьянсом и

довольно долго держа ее в этом положении, так что трудно было понять, над чем, собственно, она колеблется: над тем ли, что ответить, или над тем, куда пристроить карту; но последняя нашла свое место, пасьянс пошел своим чередом, и графиня, как будто вспомнив что-то, сказала несколько брезгливым тоном: — Я знала одного Борниша лет двадцать тому назад у моего отца, когда мы еще жили в замке, — он занимался архивами.

— Вряд ли тот самый, — заметил собеседник, — этот очень богат. А впрочем, нынче состояния сколачиваются так быстро…

— Все-таки не быстрее, чем распадаются! — вздохнула она, и тень пробежала по ее лицу при воспоминании обо всем, что они утратили. Собеседник невольно впал в то неловкое молчание, которое овладевает нами всегда, когда в светском разговоре мы вдруг доходим до той грани, где начинается жизнь чувства и сердца и за черту которой мы уже считаем неловким, а чаще всего просто не умеем и боимся перешагнуть. В это время господа, окончившие партию виста, раздвинули стулья и с интересом окружили пасьянс графини Марты.

— Вы, кажется, говорили о Борнише? — сказал один из них. — Он просил меня представить его вам.

— И вас тоже? Он, видимо, ценит наше знакомство.

— Что такое Борниш? — прищуриваясь, спросил старик с военной бородкой по моде Наполеона, бывший сенатор империи.

— Борниш? Блестящий и способный человек, бывший депутат, а теперь владелец… да, графиня, вы знаете, что он владелец вашего бывшего замка?

— Разве мадам Пюжо продала Кастель дю Пик?

— Нет, но мадам Пюжо — мать Борниша по первому мужу, и хотя она объявила, что, пока она жива, замок будет записан на ее имя, но купил его, собственно, сын.

— Вот вам люди новой Франции! — воскликнул бывший сенатор. — Скажите пожалуйста, какой избыток роскоши: мы гордимся уже не тем, что мы депутаты, а тем, что мы — бывшие депутаты; мы, видите ли, уж так знатны и так богаты, что отказываемся от того, чего другие добиваются.

(Бывший сенатор, сам человек «недавней» Франции, терпеть не мог людей «новейшей» Франции.)

— Что ж, это своего рода цинциннатство XIX века.

— Всегда оптимистичен наш добрейший доктор! — заметил старый аббат, не то укоризненно, не то одобрительно покачивая головой.

— Ну нет, извините, — вспылил бывший сенатор, не обращая внимания на замечание аббата, — римский Цинциннат вернулся к тому, что оставил перед отъездом, а эти цинциннаты

возвращаются к тому, что награбили после отъезда.

— Вы и строги и поспешны, граф, — робко вставил аббат, — мы еще не знаем, как взглянут дамы на этот вопрос; может быть, графиня Марта и графиня Аделаида пожелают быть знакомы с господином Борнишем, и тогда…

— Мои политические убеждения никогда не заставляют меня забыть предписания вежливости по отношению к тем, кого я встречаю в этом доме. Графиням это слишком хорошо известно.

Наступило молчание; ждали, что скажет графиня Марта. Дело в том, что весь этот разговор был подготовлен заранее; кроме аббата, все были в заговоре, и главный интерес этого понедельника заключался в том, как будет решен вопрос, в течение многих дней занимавший членов маленького общества, и будет ли Борниш принят бывшими владельцами Кастель дю Пик.

Но графиня была очень занята пасьянсом и даже немножко приговаривала. Гости с нетерпением замечали, что карты интересуют ее больше вопроса о Борнише; по крайней мере она отвечала на него совсем как-то вскользь, как бы на самую не важную подробность, тогда как названия карт выговаривала громко и сосредоточенно.

— Так… Дама на короля, потом так… да если мосье Борниш тот самый, которого я встречала в библиотеке покойного графа Кастель дю Пика, то… тройка на четверку… тогда не нужно представления, — мы уже знакомы; а если… семерка сюда, шестерка на семерку… если это другой, то опять-таки, раз мы были принуждены встретиться с его матерью… двойка, тройка, четверка… и с его сестрой… пятерка, шестерка семерка… то я не вижу причины отказать ему… восьмерка, девятка, десятка… валет, дама, король.

Пасьянс графини вышел. Она встала; начались прощания.

Обычное замедление в дверях между гостиной и передней, обычные вопросы о том, какова погода, какой сегодня вечер и что обещает на завтра, обычные предложения дать зонтик, фонарь или даже проводника; затем рукопожатия, благодарения, пожелания — и гости высыпали на крыльцо.

В следующий понедельник состоялось представление. Борниш оказался тот самый. Графиня Марта решилась было не заговаривать о его прошлом, думая, что бывший депутат может принять за не совсем любезный намек упоминание о его секретарстве в доме ее отца; но он сам с первых же слов заговорил о том, что называл «одною из счастливейших эпох своей юности». Он говорил смело, развязно и, надо отдать ему справедливость, несмотря на таившееся под каждым его движением нахальство, держал себя с полным тактом. Его

подвели к графине Аделаиде, с которой он не был знаком, так как в то время, когда он работал в архивах старого графа, она, пятнадцатилетняя девочка, уже года четыре как проживала в Нормандии, у старой тетки. Она привстала с кресел, и при этом у нее скатился на пол клубок; он живо подобрал его, нарядным движением подал ей, она приняла клубок сконфузившись, покраснела и села на свое место. Так состоялось представление.

II

Борниш стал бывать в доме и скоро сумел доказать своими приемами и обращениями, что для него не пропало даром время, проведенное в аристократическом доме графа Кастель дю Пика.

А старый граф был удивительный в своем роде человек.

Даже среди самых убежденных, самых безусловных сторонников королевской династии граф Аженор Кастель дю Пик стоял особняком. Он не только признавал, что течение событий во Франции и даже во всем мире остановилось после 1793 года и что все случившееся от этого года и до сего дня есть не более как перерыв, передышка, которую дает себе история, но он вполне был уверен, что эта передышка никогда не кончится, что раз спустившаяся завеса никогда больше не взовьется, что всемирная история дописала последнюю страницу своей летописи и что больше нет у нее ни чернил, ни бумаги.

Когда, во время Реставрации, он, только что женившийся, молодой и блестящий отпрыск одного из стариннейших родов Франции, поехал в Париж «представиться», то, несмотря на самые трогательные знаки внимания со стороны короля и всей семьи, он чувствовал какое-то неудовлетворение и, как ни старался, не мог войти в тон.

Несмотря на то что Людовик XVIII никогда не цитировал стиха из Лукреция или Теренция без того, чтобы глазами не искать одобрения графа Аженора, несмотря на то, что его покойная графиня была одна из дам, приглашенных присутствовать при родах герцогини Беррийской, а при церемониале крещения даже раздвинула полог над люлькой герцога Бордоского, он чувствовал, что все это уже не то. При дворе толкалось слишком много новичков, вокруг Бурбонской лилии жужжало слишком много бонапартовских пчел; нахальные наполеоновские орлы не давали ему покоя, и в одно прекрасное утро он объявил графине, что они уезжают.

Его не особенно удерживали. Когда герцогиня Ангулемская спросила как-то раз: «Почему Кастель дю Пик уехал?» — граф

д'Артуа, сидевший в это время за картами, перегнулся с кресел и через всю комнату сказал: «Он нашел, что в Марсанском павильоне слишком смешанное общество».

Он долго скитался по Европе и только в шестидесятых годах вернулся в Кастель дю Пик. Чтобы чем-нибудь заполнить досуги своей добровольной опалы, он стал заниматься приведением в порядок своего богатого семейного архива. В то время он уже давно как овдовел; при нем жила его старшая дочь, девица лет под тридцать; младшая же, если помните, воспитывалась у тетки в Нормандии. Работа графа скоро разрослась настолько, что ему понадобился помощник.

Тут и приехал Жак Борниш — нечесаный, немытый, но способный, такой ловкий, что его через десять дней узнать нельзя было, и такой обворожительный, что, несмотря на его плебейское происхождение, старый граф привязался к нему, насколько был способен привязаться. Молодой секретарь до того проникся интересом к своей работе, до того изучил и по пальцам знал родословную графов Кастель дю Пик от первого Крестового похода до дня рождения графини Аделаиды включительно, что старый граф положительно иногда забывал, что он не одной с ним плоти и крови. Когда через десять месяцев совместной работы Борниш однажды утром совершенно неожиданно объявил графу, что он должен ехать, старик был искренно опечален. Он встал и участливо положил молодому человеку руку на плечо, спросил:

— Почему вы должны ехать?

— Меня отец вызывает.

Этот ответ точно обжег его: он не знал, что у Борниша есть отец, он забыл… да он не думал даже, что у человека, который так сроднился с его предками, может быть «свой собственный» отец. Он отдернул руку со словами:

— Ну что же, поезжайте. И Борниш уехал.

Когда в тот же день вечером граф пожаловался дочери на неблагодарность Борниша, та просила его не печалиться, отныне никто не будет помогать ему в его работе, кроме нее. Он подошел к ней, пристально посмотрел ей в глаза, поцеловал в лоб.

— Вы достойны ваших предков, — сказал он.

События политической жизни Франции сильно повлияли на его и без того уже мрачное настроение. Последовательное падение всех режимов, которые чередовались в его бедном отечестве, принималось им, как принимается доктором последовательное понижение температуры в умирающем организме. Его легитимизм понемногу стал переходить в какую-то мрачную безнадежность. Но окончательный удар нанесен ему

был смертью графа Шамбора.

Тот слабый луч надежды, который после смерти последнего добрая половина легитимистов перенесла на родоначальника плодовитого Орлеанского дома, для графа Аженора угас навсегда. Тот факт, что права Бурбонов без всякой борьбы и самой судьбой были переданы их вековым соперникам, казался ему таким попранием всех основных начал мировой справедливости, что он усумнился в Божестве.

«Может ли Бог существовать, когда он это допустил? Если Бог есть, то он должен быть легитимистом, он не может не быть первым из легитимистов». Так рассуждал старый граф; и когда телеграммы из Фрошдорфа принесли роковую весть, он увидел в последних словах умирающего Генриха V, спрашивавшего: «Где мои Орлеаны?» — бред больного, впавшего в младенчество. Ожидал ли он до последней минуты, что у графа Шамбора все-таки, может быть, еще родится сын, — неизвестно, но только когда крыло смерти унесло последнего представителя французских Бурбонов, граф Кастель дю Пик усмотрел в этом измену Провидения; ну а он мог простить все, кроме измены.

Над ним замкнулся небесный свод, перед ним закрылось будущее, и он весь ушел в свое прошлое. Несмотря на свои восемьдесят четыре года, он все еще работал, и на закате своих дней этот «легитимный атеист», как его звали, успел стяжать себе известность среди представителей ученой Франции.

Но для графини Марты наступило тяжелое время. Их материальное благосостояние поколебалось. Огромный замок стал приходиться не по карману: стены стали лупиться, обваливаться, трескаться; старые потолки угрожали «рухнуть, в окна дуло, камины перестали греть. Поддерживать было не на что, и бедные жильцы, шаг за шагом, покидали одну комнату за другой, пока их не загнало в самый дальний угол замка. Дворня была распущена, и хозяйство всей тяжестью легло на руки графини Марты. Она с мужеством несла свои обязанности и только в минуты сильного утомления заговаривала о том, не переселиться ли в город; но старый граф и слышать не хотел. Последние передряги сильно его потрясли, он осунулся физически и нравственно, и силы его заметно слабели. Графиня ясно видела, что в этой затхлой, заплесневелой атмосфере ему не поправиться; а как было настаивать на переезде? Каждый раз, как она заговаривала об этом предмете, им овладевало нервное волнение.

Он стал мнителен, пуглив, суеверен и со страхом сближал свой выезд из замка с преданиями, жившими в его семье.

Он помнил, как отец увещевал его никогда не выселяться, как

он уверял, что это выселение повлечет за собой целый ряд несчастий, что единственное условие их существования — сохранение Кастель дю Пик; а сохранить его будет нелегко, потому что он приобретен неправдой. Он знал, что тут его предки обошли прямых наследников, что долго длились тяжбы, что переменное счастье перекидывало злополучный замок из рук в руки: то старшая линия, то младшая брала перевес, и что, наконец, прабабка его, известная в свое время графиня Маргарита Кастель дю Пик, обворожила дряблого Людовика XV и ценой нескольких оргий в королевском Pare aux Cerfs добилась того, что замок был окончательно закреплен за младшей линией. Все эти предания вдруг стали осаждать его слабеющую голову; с какой-то болезненной яркостью вставало пред ним и преследовало его это темное, запутанное прошлое, из которого, то вызывающе, то злобно улыбаясь, смотрела ему в глаза развратная прабабка. И зачем он все думает о ней? Зачем не может отделаться от этих наглых глаз? Зачем… А, это потому, что Марта потеряла свой медальон: она мстит с тех пор! Ну да, с тех самых пор она преследует; давно уже — лет пятнадцать… Нет, больше, Борниш еще не уезжал, разумеется, не уезжал; ведь он же ему закричал тогда вечером, когда в комнату, полную гостей, Марта вдруг вошла без своего медальона, он закричал ему: „Борниш, соберите людей, возьмите фонари, обыщите весь сад, все беседки, гроты, фонтаны, но найдите мне медальон!“ И Борниш побежал искать… Но что же он так долго? Ведь поздно — двенадцать часов. Зачем он не возвращается? Он, может быть, украл его? Он сбежал?! Борниш! Борниш!!. И старый граф, взъерошенный, встает с постели и в халате, босиком кидается из спальни в соседнюю столовую; он ищет под столом, под стульями, с исступлением осматривается и вдруг, как будто озаренный мыслью, со всею силой старческих дрожащих ног бросается к заколоченной двери. Ударом кулака вдребезги разбиты ветхие доски, дверь распахивается настежь — и по необозримым залам запущенного замка, белея в лунном свете и пропадая в темноте, все дальше и дальше несется исступленный, обезумевший старик, оглашая своды криками: „Борниш! Где медальон графини Маргариты?!“ Падают дряхлые двери, соскакивают ржавые замки, и, летя из комнаты в комнату, по коридорам, по лестницам, по галереям, он наконец ломает последнюю дверь и вваливается в комнату, где жил когда-то Борниш.

Все это было сделано с тою невероятною быстротою, на которую способны лишь одни больные; так что когда графиня Марта сквозь сон услыхала возгласы отца, успела сообразить, в чем дело и, схватив фонарь, бросилась к нему на помощь, он был

уже далеко. Она устремилась на его голос, но, несмотря на то, что все двери на ее пути были уже раскрыты, она не могла догнать его вовремя, чтобы остановить, и настигла его лишь тогда, когда, ободранный, истерзанный, израненный, он лежал с разбитой головой на кирпичном полу около бывшей постели Борниша. Ее ноги подкосились, и с ужасным воплем, в котором вылился весь запас рыданий, душивших ее во время этой страшной погони, она припала к охладевшему трупу отца.

III

Прошло два месяца, в течение которых графиня Марта выказала много выдержки, энергии и деловитости. Старый граф был похоронен в семейном склепе, архив подарен музею, библиотека продана, а картины и старинная мебель перевезены в маленький городской дом, куда вскоре переехала и сама хозяйка. Кастель дю Пик был объявлен в продажу и сверх ожиданий через каких-нибудь три недели нашел весьма выгодного покупателя.

К этому же времени графиня Марта выписала из Нормандии сестру Аделаиду. Когда прошло шесть месяцев со смерти отца, она возобновила несколько знакомств, а после года объявила понедельники. Тогда началась для них та тихая, однообразная жизнь вдвоем, которою они прожили последующие два года и которой было суждено испытать такой сильный удар после вторичного появления Борниша на горизонте их серенького неба.

Как совершилось это появление, мы видели. Когда старшая графиня объявила, что не имеет причин не принимать его, она оставалась верна раз принятому правилу: она не хотела быть слишком исключительна в выборе своих знакомых под риском понизить установившуюся популярность своих вечеров; утратить легитимистическую окраску ей, во всяком случае, нечего было бояться; популярностью же она дорожила и готова была даже заплатить за нее некоторыми уступками, лишь бы в обществе было объявлено раз навсегда, что единственный интересный салон в городе — легитимистский салон графини Кастель дю Пик. Прием этот действительно удавался графине, но только на этот раз результаты его неожиданно столкнулись с самыми основными, незыблемыми принципами ее мировоззрения.

Как все это произошло, никто положительно сказать не мог, но только когда впервые об этом заговорили, то дело было уже совершившимся фактом. Кто первый заметил, кто первый начал разговор, тоже неизвестно; но когда однажды по выходе гостей на площадь кто-то таинственно провозгласил: „Ну, господа, Борниш

сделал предложение!“ — то вдруг оказалось, что все этого ждали, что все это давно видели, что это должно было быть, не могло не быть и т. д. и т. д.

— Так как же вы раньше об этом не говорили? — упрекали гости один другого.

— Что ж, нельзя же обо всем всегда переговорить. А в сущности, каждому было досадно и совестно, что мог он упустить подобное событие.

— Но как же можно было, — недоумевал новичок, — такая свадьба, и прошла у вас под самым носом!

— Свадьба?! — возгласили все разом, и в этом хоровом вопросительном знаке выразилась вся невероятность подобного предположения; гости были слишком уверены в своих графинях, чтобы допустить даже тень колебания.

Но гости не знали, что переживала за последнее время графиня Марта; они не знали, хотя бывали в доме столько лет, они не знали, что графиня Аделаида была существо без фундаментов; они не знали и того, что природа человека, даже самого слабого, бывает способна распереть самые крепкие рамки, в которых сдавливают ее обычай и привычка. Как ни истаскано известное изречение Паскаля, что „сердце имеет доводы, которых разум не знает“, надо думать, что оно им не попадалось, а то бы их уверенность значительно была поколеблена и по крайней мере они успели бы приготовить общество к одному из самых ошеломляющих известий, какие когда-либо довелось ему услышать. Графиня Марта давно уже заметила; не скажу, чтобы она заметила раньше самой Аделаиды, но она, конечно, раньше нее поняла. И с той минуты в ее душу вселилась тревога, тревога, которая росла с каждым днем, с каждым часом и наконец приняла размеры какого-то на вид даже бессмысленного страха, для оправдания которого уже оказывались бессильны все ресурсы логики и принципов.

Сколько раз по понедельникам, видя, как ее сестра в другом углу гостиной, вся красная, насупившись над кружевным вязанием, слушала баритонное воркование Борниша, — сколько раз говорила она себе: „Как только они уйдут, я с ней заговорю“. Но гости уходили, и она даже намекнуть боялась: а что если ее расспросы только глаза откроют ее невинной и простоватой сестре? И она опять уходила в молчание, и опять из-за своего пасьянса, как из-за траншеи, высматривала и наблюдала. Наконец однажды она опять должна была признать, что произошло нечто важное: у сестры Аделаиды выпала работа на колени, руки заметались по сторонам, и вдруг она встала и, не сказав никому ни слова, почти выбежала из комнаты.

Борниш тяжело, нехотя поднялся с кресла и, выпрямляя поясницу с видом человека, который только что кончил трудную работу, обдернул свой сюртук; он подошел к графине Марте и, пожелав ей доброй ночи, попросил позволения зайти на другой день вечером в восемь часов.

Она посмотрела на него таким взглядом, после которого всякий другой бы на его месте никогда больше не переступил через порог дома; но он выдержал его в учтивой выжидательной позе, и она дрожащими губами ответила: „Хорошо“. Вообще, надо сказать, что, несмотря на весь ужас, какой внушала ей мысль о возможном браке сестры с этим человеком, она держала себя с ним так, как будто он был для нее самый безразличный из ее знакомых.

Графиня Марта решилась действовать.

Немедленно после ухода гостей она поднялась к сестре, но в первый раз дверь оказалась запертою. Приходилось подождать до утра. И в эту бессонную ночь она перебрала и подготовила все отрицательные пункты, которые только могла выставить против такого брака. Но чем более вески были возражения в ее глазах, тем менее надеялась она, что они будут иметь воздействие на Аделаиду. К чему говорить ей об аристократических принципах, ей, которая десяти лет от роду уже составляла отчаяние отца своими буржуазными наклонностями? Она никогда, никогда не понимала, что такое родовитость; даже тетка в Нормандии не могла внушить ей аристократических инстинктов, а уж, кажется, она умела воспитывать людей! И что же? Аделаида только прониклась уважением к знатности, и больше ничего, того рода уважением, которое мы питаем к чему-нибудь, что нам не принадлежит, но сама ничем, ничем не заразилась. Хоть бы что-нибудь в ней изменилось: она вернулась как уехала. „Что ж, — вздохнула графиня, — бедняк не станет богатым от сожительства с богатым“. К утру она заснула, и сквозь сон слышался ей голос покойного отца, упрекавший сестру: „Адель, вы опять обкусали ваши ногти! Ваши губы опять в сливках и в варенье!.. Вот я отправлю вас в Нормандию“.

Графиня Марта всегда вставала раньше сестры, и в этот раз, окончив свой утренний завтрак, она сказала девушке: „Когда madame встанет, попросите ее ко мне“. Она любила называть сестру этим именем: ей было приятно в своем каждодневном домашнем обиходе употреблять это сочетание слов, воскрешавшее вокруг нее титул первородных дщерей французских королей.

Через полчаса в ее дверь постучались. Она приняла свою самую гордую осанку и сказала: „Войдите“, — но вошла

служанка.

— Мадам Аделаида просит графиню к себе.

Этого она не ожидала, и, как ни неприятно было начинать с уступок, приходилось покориться. Зато в те краткие мгновения, которые потребовались на переход из одной комнаты в другую, она успела мысленно перевернуть роли и, входя, спросила:

— Вы хотели меня видеть, сестра?

— Нет, Марта, ты, кажется, хотела меня видеть. — Марта всегда говорила Аделаиде „сестра“ и „вы“; Аделаида же никогда не могла принудить себя к тому же и попросту называла ее „Марта“ и была на „ты“.

„А не правда ли, как в одном этом уже видна разница их взгляда на вещи?“ — обыкновенно говаривал старый их друг доктор, специалист по психологическим наблюдениям.

Графиня Марта искала, как начать, когда Аделаида подняла глаза и с какой-то, как ей показалось, настойчивостью переспросила:

— Ты не хотела меня видеть?

Это превосходило все, чего она могла ожидать: она чувствовала, что все, что она подготовила за ночь, опрокинуто заранее.

— Сестра, Аделаида!.. — воскликнула она, но та вдруг прервала ее:

— Марта, отчего ты стоишь? Она села, но тотчас же встала.

— Нет, я не сяду, пока мы не объяснимся; так не может продолжаться, нам надо переговорить.

— О чем?

— Как — о чем? — она решительно после каждого слова сестры недоумевала все больше и больше. — Как — о чем?! Или вы думаете, что я слепа! Или вы находите, что то, что в доме происходит, меня не касается! Или… или…

Она остановилась; перед невинным, вопрошающим взглядом сестры ей вдруг стало совестно своих подозрений; ее обвинения показались ей низостью, плодом грязного воображения, и перед чистотой смотревших на нее глаз вдруг рассеялся мрак опасений.

Но морская непогода не стихает от одного солнечного луча, а графиня Марта принесла такую бурю в своей груди, что теперь она с трудом удерживала слезы; она опустилась на стул, вся дрожащая, бессильная совладать с волнением, пока сестра, бросившаяся за одеколоном, участливо спрашивала:

— Да что с тобой, Марта? В чем дело? Я тебя уверяю, я ни одного слова не понимаю.

— Ничего, ничего, это пройдет, я так скверно спала…

— Да, да, — подтверждала Аделаида, — это пройдет, это

ничего… Я тоже не спала, это ничего; вот тебе одеколон… Нет, постой, я достану платок и намочу тебе голову. — Она стояла перед сестрой, тихонько выливая пахучую жидкость на батистовый платок, и по ее лицу все шире и шире раздвигалась улыбка.

— Марта…

— Что?

— Ты знаешь, Марта? — Она подошла, рукой приложила ей платок ко лбу, а левой обхватила голову сзади и, наклонившись над самым ухом, все с той же счастливой и немного лукавой улыбкой произнесла: — Ты знаешь, он сегодня вечером придет за ответом.

Раздался слабый, но протяжный стон изнеможения, и к ней на руку свалилась голова сестры…

Через час графиня Марта была на ногах и в полном обладании своих сил, своей логики и красноречия. Времени оставалось немного, и она решила, что все, что можно будет сделать, будет испробовано в течение этого полудня. Она начала на тему об аристократизме, о заветах предков, о семейной гордости; говорила долго, неистощимо.

Аделаида молча слушала и, когда сестра кончила, спокойно сказала:

— Все это имело бы значение, если б ты была на моем месте, но для меня это не доводы.

Кровь бросилась в лицо графине Марте при этих невинных словах, в которых ей почувствовался укор; но она слишком убедилась в чистоте сестры, чтобы в чем-нибудь позволить себе обвинить ее, и, с грустью удостоверившись, что самый сильный из ее доводов провалился, она с тем большим жаром перешла к другим.

— Ну, положим, это не для вас; но подумайте о его семье: такая мать! И такая сестра! Ведь вы видели их, вы помните, что это за впечатление, вы же сами говорили, что ужасно было бы, если б кто-нибудь заставил вас хоть раз в месяц принимать таких людей, а тут вы поедете жить с ними!

— И напрасно: не следует никогда судить людей по одному первому впечатлению.

— Нет, сестра, одумайтесь, ведь вы даже не знаете, что говорят о них.

— Ах, Марта, да не все ли равно, что говорят.

— Да, все равно, когда неправда; а когда правда…

— Ну а если даже и правда, ведь я за него выхожу, а не за них.

— За него! За него! Да ведь это еще в десять раз… — Она

закрыла лицо руками. — Аделаида, — сказала она, напрасно стараясь совладать с собой, — Аделаида, уверены ли вы в том, что он вас любит?

Она с ангельской улыбкой только повела плечом.

— Да вам так кажется! Отчего же никогда никто прежде, когда вы были молоды… отчего теперь, так, вдруг?

— Да я не знаю, Марта, отчего я в доме до сих пор оставалась в тени.

— Как — в тени! Что вы хотите сказать? Вы меня упрекаете в том, что…

— Нет, нет, Марта, пожалуйста, только этого не думай, это было бы неблагодарно. Я никогда тебя не упрекала; все, что ты делаешь, и справедливо, и так и нужно; только я всегда думала, что я ничего сама по себе, а теперь я увидела, что и я могу иметь какую-нибудь цену.

— И прекрасно; но зачем же это он, зачем такой выбор?

— Потому что он меня любит.

— А вы? — Аделаида потупила глаза. — Неужели он вам нравится?

— Разве он может не нравиться?

— Но вам, вам!

— Почему же нет?

— Да он Борниш!

— Я тебя не понимаю, Марта. — И правда, что своими возгласами она рассеяла всю логическую связь своих доводов. — Я тебя не понимаю: что ты имеешь против него?

Старшая графиня молча уставилась глазами в пол и руками теребила свой платок.

— Что ты имеешь против него? — повторила Аделаида. — Ведь ничего, ровно ничего.

Графиня Марта подняла голову и, как бы хватаясь за последнее средство, с заклинаниями произнесла:

— Сестра, подумайте о нашем отце!

— Я думала, и только одно помню, что папа никогда в своих письмах не говорил иначе как с восхищением о своем секретаре.

— Он был секретарем, Аделаида!

— Так не все ли равно, кем он был; я смотрю, что он теперь: он — владелец того же замка, которым владел наш отец.

— Да ведь это за деньги, а деньги не дадут ему имени.

— Я могу дать ему мое имя, и тогда все будет как следует.

— Аделаида! Вы на это не решитесь! — Графиня Марта была поражена спокойною устойчивостью ответов сестры.

— Почему же не решусь? Имя замка обыкновенно передается невестой, когда нет мужских потомков.

— Да ведь чужое имя не может дать ему…

— Чего?

— Того, что… тех качеств… которых у него…

— Ты его не знаешь, Марта; я с ним говорила чаще и дольше твоего.

Графиня Марта сложила оружие; с сестрой было бесполезно говорить. Но оставалось еще одно средство — она решилась на него. Она написала Борнишу, прося его прийти двадцатью минутами ранее восьми. И, поднявшись каждая в свою комнату, сестры стали дожидаться вечера.

Что произошло в гостиной в те двадцать минут, которые выговорила себе графиня Марта, осталось тайной; но когда графиня Аделаида спустилась в коридор, то, подходя к дверям гостиной, она услыхала поспешный и нетерпеливый голос Борниша, говоривший: „Встаньте, идут, встаньте же“. Она вошла и нашла сестру сидящей на обычном своем месте, она с недоумением посмотрела на обоих, и в то же мгновение Борниш, полуувещательным, полушутливым тоном начав на той же ноте, на какой остановился, и понемногу подымая голос все выше и выше, стал повторять свою фразу: „Встаньте же; ну, встаньте же, графиня!“ — и с комическим жестом подойдя к ней, взял ее за руку, поставил посреди комнаты и еще раз, уже самым благодушным тоном, повторил: „Да встаньте же, графиня, и скажите графине Аделаиде то, о чем я вас просил!“

Он скрестил руки и смотрел на нее в упор.

— Сестра, мосье Борниш просит вашей руки.

— А! вот это так!

Аделаида улыбнулась ему своей широкой улыбкой, на этот раз уже без всякого лукавства, и жених поцеловал протянутую ему руку.

IV

Небывалый еще день всходил над городом со следующей утренней зарей.

Маленькая площадь и ближайшие к ней улицы бывали прежде свидетельницами всякого рода торжеств: Жозеф Бонапарт, отправляясь занимать испанский престол, заехал сюда на одну ночь; маршал Ней со своим штабом провел здесь два дня; позднее один из Орлеанов, возвращаясь с алжирского похода, останавливался в гостинице „Золотого льва“, и в той же гостинице Ламартин ночевал и даже, как гласит прибитая доска, написал одно из своих юношеских стихотворений; сестра

императрицы Евгении как-то заезжала; в книге все той же гостиницы читалась на странице 35-й подпись Гизо; во время коммуны приезжала с воззванием приятельница Луизы Мишель; если не ошибаюсь, Буланже делал смотр местному гарнизону; ну и, наконец, уже в самое недавнее время министр общественных работ присутствовал при закладке новых водопроводов. Словом, много бывало здесь всяких событий — и не перечислишь. Но никогда, ни при одном известии не происходило в городе того, что в это утро. Да оно и понятно: тогда каждый стремился только поглазеть, теперь же всякому хотелось узнать и рассказать.

С быстротою молнии пронеслась из уст в уста весть о том, что объявлена свадьба графини Аделаиды с Борнишем, и мгновенно, как в раскопанном муравейнике, между домами пошла перекрестная болтовня. На несколько часов все было забыто; правильное течение будничной жизни остановилось; ни одна контора не открывалась до 11 часов; лавки не торговали; произошел застой в доставке припасов, потому что булочник, выходя от аптекаря и встретив мясника, выходившего от нотариуса, останавливался, расспрашивал, рассказывал, и только когда с обеих сторон любопытство было удовлетворено, булочник бросался к нотариусу рассказывать, что думают у аптекаря, а мясник бежал к аптекарю передавать, что говорится у нотариуса. Одним словом, это было брожение, охватившее все слои и все возрасты.

Около часу дня стали появляться на улицах мальчишки, торопливо несшие кто завернутый в бумагу букет, кто огромную корзину цветов. Толпа приставала к ним на всем пути до площади, стараясь разобрать, что стояло на приколотой карточке; и вдруг бежавший впереди останавливался, оборачивался и кричал: „От городского мэра“; и всякий поворачивался и кричал то же самое; и хозяйки, в припадке насыщенного любопытства, захлебываясь, передавали, что „корзина от господина городского мэра“, потом еще раз переспрашивали друг друга, подтверждали несомненность сообщенного известия, и волнующаяся улица, до появления следующего букета, сравнительно успокаивалась на том, что великолепная корзина — „от самого господина городского мэра“.

Часу в четвертом раздались звонкие удары бича; толпа заколебалась и начала расступаться; приближалась великолепная восьмирессорная коляска с ливрейным кучером и двумя лакеями на запятках; в ней сидели две дамы в ярких платьях, с перьями на шляпках и с пестрыми зонтиками в руках.

— Дамы Пюжо! — пронеслось по всей линии; все замерло, никто не смел дохнуть, и только хозяйки беззвучно одними

губами произносили: „Дамы Пюжо!“

Мать и сестра жениха ехали с официальным визитом к невесте.

Для тех, кто знал, что такое мадам Пюжо и ее дочь, это предстоящее родство с графинями Кастель дю Пик должно было казаться вопиющим противоречием, наглым оскорблением мировой гармонии вещей.

Накануне вечером в городском клубе на эту тему говорили до часу ночи.

— Ведь это ужасно! — сокрушался старый друг дома, доктор Маке. — Ведь это все равно что посадить в одну карету кокотку и епископа! Ну, Аделаида сама захотела, но бедная графиня Марта!..

— И чего искал Борниш? — спрашивали многие.

— Мало ли чего! Имени, знатности, положения — всего, что нельзя купить.

— Все-таки я думаю, если бы не мать, он бы этого не сделал; ведь графине Аделаиде скоро тридцать восемь лет, не говоря о наружности, но для матери…

— Конечно, для матери: помилуйте, иметь невесткой графиню Кастель дю Пик — ведь это высший козырь в ее игре.

— Тиранническим и глупым людям всегда все удается, и без труда: они только восседают, а работают за них другие.

— Ну, у нее ценная работница в лице дочери.

— У! Эта ангельская улыбка — тайная пружина всех гадостей.

— Знаете, я думаю иногда, что у нее вместо крови в жилах течет яд и она так уж испорчена, что для нее это является нормальным.

— Говорят, она очень привязана к брату.

— То есть она ему помогала в его политической карьере, но по каким побуждениям, это, конечно, неизвестно.

— Да неужели Борниш нуждается в помощи? Такой ловкий, такой находчивый!

— Нуждается или нет, но он ею не брезгует. Хотя раз, — представьте, это мне рассказывал человек, собственными ушами слышавший, — раз сам Борниш даже не выдержал и сказал сестре: „Неужели тебе не стыдно прибегать к таким средствам?“ — „Что ж, — отвечала она, — по крайней мере, если не удастся, я не буду себя ни в чем упрекать, моя совесть будет чиста“. — „Да, Жак, — подхватила мать, — уж если ты теперь не будешь выбран, то это будет только твоя вина: все, что порядочная женщина может себе позволить, то Лина сделала для брата“.

— Ну, знаете, нельзя тоже ставить ей в вину уж всякую гадость, которую она говорит; это у нее бессознательно, от природы, в особенности ее колкости: она от времени до времени просто чувствует потребность поточить язык — не для того, чтобы уколоть, а так, чтобы не тупился.

— Одним словом, это ангел, имевший несчастье родиться дьяволом, — со свойственной ему краткостью отрезал бывший сенатор империи. В летописях клуба долго передавались эти слова как одно из самых метких его выражений.

Так говорили люди общества, знавшие, в чем дело; но и для тех, кто ничего не знал, эта коляска на восьми рессорах, в которой сидела толстая и перетянутая мадам Пюжо, вся крашеная, с желтыми волосами, а рядом с ней тонкая, стройная дочь, в одной из тех невероятных шляпок, какие наши бедные граждане видали только на картинках, — эта коляска казалась таким пестрым, неприличным карнавалом, что жители с трудом верили глазам своим, когда она, переехав через площадь, остановилась у подъезда скромного, но почтенного барского дома.

Этот первый родственный визит мадам Пюжо к графиням Кастель в ее глазах имел решающее значение: ее величие, ее богатство, ее светская опытность, столичная бывалость — словом, все те качества, обладание которыми, по ее мнению, делано из нее последнее слово совершенства в общественном смысле, должны были с первых же минут раздавить, уничтожить отсталых и провинциальных сестер. Но тягаться с родовитостью не так легко, как думала мадам Пюжо. Они с дочерью действительно усвоили себе тот внешний, дешевый лоск, который, как и все поддельное, так легко достается на парижском рынке; но они не знали, что то, что они сами в себе так высоко ценили, то людьми известного круга не ставится ни во что, прямо-таки для них не существует; а потому они были неприятно обмануты в ожиданиях, когда, войдя в гостиную, не увидели на лицах сестер ни малейшего выражения придавленности. Лицо графини Аделаиды сияло беззаветной радостью, а черты графини Марты не изобразили ничего, кроме некоторой брезгливости.

Они ничего не понимают, подумала мать. Ничем их не возьмешь, этих аристократок, подумала дочь. Но ядовитость их размышлений не отравила сладости их речей. Они мгновенно отразили на своих лицах точную копию с улыбки Аделаиды и поочередно заключили ее в свои объятия.

В течение двадцати минут в гостиной стояло пустозвон-кое щебетание, в котором светская мадам Пюжо успела показать всю разносторонность своего разговорного таланта. Тут было,

конечно, прежде всего материнское сердце и радость о сыне, но тут же были последние новости Парижа, лоншанские скачки, министерский кризис, ее связи в большом свете; тут же жалобы на провинциальную прислугу и на то, что в городе не поливают улиц; последний роман Бурже, удачное направление в современных модах, превосходство Феликса над Бортом: „Ну а для приданого вы, конечно, не найдете никого лучше, чем Дусэ“.

У графини Марты начала кружиться голова, когда обе дамы встали.

— Вы меня извините, если я вам не отвечу визитом, — сказала она, — но вы знаете, какие воспоминания связаны для меня с замком Кастель дю Пик…

M-lle Пюжо подошла к ней и, значительно пожав ей руку, произнесла: „Я вас понимаю“.

Графиня посмотрела на нее взглядом, который с головы до ног обдал ее холодным безучастием. В своей привычке подделываться под чужой тон, для того чтобы во что бы то ни стало всякого обворожить, m-lle Лина Пюжо иногда заходила слишком далеко: не все люди были так простоваты, как она полагала, и она часто сама становилась перед ними в то глупое положение, в которое хотела поставить их; но, потерпев осечку здесь, она с тем большим порывом нежности обняла Аделаиду: ведь жить-то придется с ней, а не со старшей, — так не все ли равно!..

— Не стоило так много стараться, — сказала мадам Пюжо, когда коляска тронулась, — они слишком провинциальны. По крайней мере младшая без претензий, с ней будет легко: это совершенный нуль, круглый, полный.

— Да, но это нуль не без логики, — заметила дочь, хихикая в платок.

„Что за люди! — думала графиня Марта, когда закрылась дверь гостиной. — В последний раз я с ними вижусь, к этому Аделаида должна быть готова“.

Она в волнении ходила по комнате, не обращая внимания на сестру; она перебирала в памяти все это пустозвонство, и хоть бы на чем-нибудь остановиться, на чем-нибудь отдохнуть! Нет, и потом, как вам это нравится! Ее, графиню Кастель дю Пик, ее, которая по матери правнучка герцога Субизского и внучатая племянница великого Конце, ее хотят ослепить знакомством с министром земледелия!

— Мари! Мари! Откройте все окна в гостиной и столовой! В комнатах стоял нестерпимый запах „по д'эспань“, и графиня Марта поднялась к себе. Следующие за тем дни были хлопотливы для жениха. Он был посредником между матерью и графиней

Мартой в переговорах относительно церемониала бракосочетания, вызванных непреклонным решением графини не встречаться с дамами Пюжо. После трехдневных стараний наконец был выработан план, удовлетворявший обе стороны и обеспечивавший соблюдение всех правил внешнего приличия: графиня Марта простится с сестрою дома, проводит ее до кареты, но на бракосочетание не поедет; со своей стороны, мадам Пюжо тоже не будет присутствовать на обряде, а встретит новобрачных на крыльце своего дома, где состоится званый ужин. Таким образом, самый обряд лишался всякой торжественности, и ввиду отсутствия ближайших родственниц решено было и других дам не звать, и вообще, кроме необходимых свидетелей, никого не приглашать ни в мэрию, ни в церковь. Наконец, было принято довольно важное отступление от установленного обычая: решено было, что жених сам заедет за невестой на дом.

Приближался назначенный день, тот ужасный день, который должен был, как буря, ворваться в незатейливую жизнь графини Аделаиды и зараз поднять ее на вершину счастия и повергнуть в пучину горя.

Тихо и спокойно протекали последние дни ее девичества. Занятая хозяйственными приготовлениями, всеми помыслами сосредоточенная на предстоящем своем счастии, она мало времени имела на разговоры с сестрой, но она чувствовала, что между ними что-то пролегло.

Однажды она начала говорить графине Марте про своего будущего мужа, но та после первых же слов ее остановила.

— Я вам буду благодарна, если вы со мной об этом никогда говорить не будете.

Аделаида раскрыла глаза:

— О чем это, Марта?

— Ни о чем.

Аделаида не понимала, не хотела ни говорить, ни обижаться и приписывала все нервам. Да, так мы всегда все приписываем нервам; ну а сами нервы чему же приписать?..

Борниш как-то у себя дома упомянул о том, что графиня Марта как будто не совсем в духе.

— Просто завидует сестре и злится, что не она, — решила мадам Пюжо.

Накануне свадьбы графиня Марта вошла в гостиную с шкатулкой в руках и поставила ее перед сестрой. Аделаида знала, что это были вещи, которые по завещанию матери должны перейти той из сестер, которая первая выйдет замуж. Она открыла крышку и стала перебирать: тут были кружева, нитка жемчуга, старинный рабочий ящик; она раскапывала всю эту

нарядную мелочь, рылась в шкатулке все глубже и глубже, как будто искала чего-то и не находила.

— Марта, а где же? Ах, вот! — Но нет, это было зеркальце. — Где же?.. Я не могу найти… медальон прабабки Маргариты!

— Нет, сестра, в род Борниша он не перейдет.

Это было сказано тоном, не допускавшим противоречия. И кто бы мог подумать, что то, что звучало так уверенно для других, было полно жгучего сомнения для нее самой!

Наступил и последний день их сожительства. Все утро в доме стояла суматоха; толкалась прислуга, входили и выходили посыльные; проносились картонки, ящики, букеты; торопливый шепот сливался с шуршанием оберточной бумаги, и обычный при укладке шум затих только тогда, когда в атласном подвенечном платье, застегивая левую перчатку, Аделаида вышла в гостиную. Все высыпали за ней. В эту минуту к крыльцу подкатила карета, из которой в черном пальто, распахнувшемся над крахмальной грудью, с красной ленточкой Почетного Легиона в петлице, выскочил Борниш. Он через две ступеньки в третью вбежал на крыльцо, вошел и остановился на пороге гостиной. Невесте прикололи вуаль, расправили шлейф, накинули бурнус. Она прошла через вторичный ряд поцелуев и рукопожатий, так сказать, обряд малого прощания (главное состоялось наверху), и, положив свою руку в протянутую руку Борниша, вышла в переднюю, спустилась с крыльца и вошла в карету; она подобрала платье, чтобы дать место жениху: жених вскочил и хлопнул дверцой; она нагнулась вперед, чтобы в последний раз взглянуть на родной дом; щелкнул бич, и карета укатила.

Водворилась обычная в этих случаях тишина и пустота. Гости и прислуга долго стояли вокруг крыльца и смотрели вслед исчезнувшей карете…

Графиня Марта сидела в своей комнате и долгим неподвижным взглядом смотрела на лежавший перед ней истрепанный футляр из зеленого сафьяна: он был раскрыт и показывал на старом белом бархате пустое углубление для круглого медальона.

Где витали мысли графини Марты? В какую даль вперялись ее взоры? Вослед чего бежала ее память? Что заставляло ее сердце так больно щемиться в груди? Зачем дрожали ее губы? Кто вызвал росистые капли на гордые, черствые глаза? — Он. Тот он, который, светлый или мрачный, добрый или злой, надменный или безразличный, прошел через жизнь, оставил полосу и живет на две души у каждой старой девы. И теперь он стоял в ее воспоминаниях со всей нетленной яркостью исчезнувших очарований юности. И все восстает пред ней из глубокой ночи

прошлого и смотрит на нее сквозь безлунную тьму таинственного часа, и шепчет ей сквозь шелест бересклета, и веет на нее дыханием шиповника. Все, все: его туманные глаза, и ласка его голоса, и жгучий трепет его губ, и вдруг… о, ужасная дерзость оскорбительных объятий! Ее вспыхнувшая гордость, напрасная борьба, бессильные мольбы, заглушённые зверской алчностью его хищных поцелуев… И потом, это возвращение к гостям и, как набат в ее душе, ударивший вопрос отца: „Марта, где ваш медальон?“… А потом эта пытка, когда, прильнув к стеклу окна, она следила за мельканием фонарей в кустах! И эта бесконечная ночь, когда истомленными глазами она пронзала тьму, стараясь разгадать: правда ли, что медальон не найден? И если не найден — где он? А если найден — у кого он? И возможно ли, что его и искать было напрасно? Возможно ли, что он остался в его дерзких, бессовестных руках?

Да, о ком, о ком думала графиня Марта в то время, как сестра со своим возлюбленным ехала к венцу?

V

Высокая гостиная замка Кастель дю Пик звенела голосами нарядных гостей.

Мадам Пюжо в великолепном сиреневом платье, хвост которого атласными волнами вздымался у ее ног, стояла на середине зеркального паркета и разговаривала с нарочно к свадьбе приехавшим министром земледелия. Она веером коснулась рукава министра:

— Вы позволите? — Министр поклонился, и она пошла из комнаты. Двери одна за другой распахивались перед ней и выпустили ее на высокое крыльцо.

Она была ослепительна: бриллиантовые звезды на невидимых проволоках дрожали в желтых волосах; жемчуга струились по плечам в средине высоко поднятой груди; крепкий панцирь атласного корсажа лоснился и трещал. Под лучами заходящего солнца, пред тихой картиной в роскошных красках умирающего дня еще оскорбительнее казалась искусственность ее цвета лица, возбуждало сострадание это жалкое художество с целью разукрасить свой собственный закат. Кажется, смотря друг на друга, дамы могли бы убедиться, что женщина, которая красится, никого не обманывает, кроме себя; но нет, они, видимо, думают: „всякая, только не я“.

Мадам Пюжо заслонилась от солнца кружевным веером и стала смотреть. В вершине аллеи показались кареты: по

церемониалу в первых пяти ехали шафера и свидетели, в шестой — молодые. Мадам Пюжо сошла на несколько ступенек — кареты быстро приближались.

— Скажите мадемуазель Пюжо!

Лакей побежал; но Лина не спешила: она решила, что подождет до последней минуты и бросится на шею новой сестре „неожиданно“. Она вообще любила придавать встречам характер неожиданности: „оно выходит более радостно, и по крайней мере скука длится не так долго“. И на этот раз она не вышла, а осталась с молодым доктором, которого положила развести с его женой — „так, для пополнения коллекции“.

Мадам Пюжо сошла еще на две ступени. Кареты въезжали во двор. Въехала первая, круто повернула влево и остановилась, чтобы не подъезжать к крыльцу раньше молодых; за ней одна после другой въезжали остальные; четыре кареты уже стояли, вытянувшись вереницей; но когда въехала и в свою очередь повернула в сторону пятая карета, то глазам мадам Пюжо, нетерпеливо ожидавшим появления шестой, представилась длинная аллея, редевшее облако пыли, гаснувший закат — и больше ничего.

Она недоумевала; недоумевали и все кругом. Удивленные кучера оглядывались с козел; из пяти карет высунулись головы в цилиндрах — все смотрели в пустую аллею.

Мадам Пюжо совсем сошла с крыльца; дверки карет раскрылись, шафера повыскакали наземь и бросились к ней.

— Они отстали?

— Да не могли отстать — они ехали следом.

Мадам Пюжо сделала несколько шагов и, атласными башмаками вступив на газон, тихонько пошла через двор по направлению к аллее. Гости начали высыпать из дома. Мадемуазель Пюжо, видя, что судьба рассудила иначе, чем она, тоже вышла, в воздушном платье лимонного крепа, и сошла с крыльца; гости за ней: вся нарядная толпа медленно двигалась по зеленой траве, сама не зная, куда и зачем…

Вдруг раздался крик: „Верховой!“ В аллее задымилось новое облако, и во весь опор приближался всадник. На взмыленной лошади подъехал лесник; он с разбега чуть не врезался в толпу и, осаживая коня, задыхаясь и путаясь, стал передавать что-то ужасное, что сразу и понять было трудно: „Лошади понесли, там, под горой… как раз перед поворотом… кучер ничего не мог сделать, мосье Борниш высунулся из окна, хотел помочь… закричал кучеру, лошади хуже подхватили и вдруг… на самом повороте… карету с размаху ударило о скалу… мосье Борниш — прямо головой… до смерти“…

Послышался крик: мадам Пюжо упала в обморок; ее подхватили; и мадемуазель Пюжо, приказав, чтобы мать несли в спальню, сама последовала за ней.

Гости обступили лесника и в течение пятнадцати минут своими расспросами рвали его на части. Оказывалось: „разбился до смерти, положили в сторожку… доктор случился, сказал, что не стоит и перевязки делать… предложил шарабан, — должны следом быть“.

Эти обрывчатые слова ловились и передавались из уст в уста; во дворе стоял зловещий говор; люди стали сбегаться со всех сторон, рабочие со всей усадьбы, крестьяне с соседних ферм наводнили двор, и скоро нарядная толпа чопорных гостей пропала в серой массе волнующегося народа.

Но вдруг говор смолк, волнение утихло: „Мадемуазель Пюжо!“ — пронеслось шепотом. Она сходила с крыльца, бледная, с красными глазами и в глубоком трауре.

— Мама извиняется, но вы понимаете… после того что случилось… — она сморкалась в мокрый платок. Ей подали стул; гости окружили ее в почтительном отдалении.

Спускался вечерний туман… Все переминались с ноги на ногу… Царило давящее молчание.

Совсем почти стемнело, когда в той же аллее, откуда приехал поезд свадебных карет, показался шарабан. В подвенечном платье, с красным и мокрым от слез лицом, обняв руками покоившуюся на ее коленях окровавленную голову, подъехала Аделаида к крыльцу. Несколько человек бросилось поднимать бездыханного Борниша; его вытащили из шарабана, и, пока его несли по ступеням, мадемуазель Пюжо истерическим движением протиснулась к трупу; судорожно прижимая свой мокрый платок к подбородку, она исступленно смотрела брату в мертвые глаза и глухим, грудным голосом повторяла: „Жак! Жак! Жак!“… Его внесли в переднюю, она прошла за ним, и они исчезли во внутренние комнаты.

Аделаида все еще сидела в шарабане. Почему она не двигалась, она сама, конечно, и не думала о том и не понимала; но если б вы могли проявить и вызвать на свет те невидимые письмена душевной книги, в которые не проникало око ее самосознания, вы поняли бы, почему ей страшно было двинуться.

Ей было страшно сказать себе, что вот теперь все кончено. Все это было слишком скоро, длилось так мало, а ей хотелось, — так хотелось, — чтобы оно продолжалось! Пускай бы в десять раз мучительнее, но только чтобы не прекращалось! Ведь это было с ним, вместе, тут вдвоем, в этом самом шарабане; ведь еще пять минут тому назад, здесь, на этих же подушках, она сидела —

хранительница жениха, оберегательница мужа, единственная госпожа! Ведь в первый раз она, ничтожная, безгласная, безвольная, имела хоть и один только, хоть и ужасный, страшный, но свой, свой собственный час. Кто ей дал его? Конечно, не она его взяла: он был отпущен ей; но так скупо, так обидно скупо! И все-таки, подумайте, как события вдруг приподняли ее над обычным плоским уровнем ее существования; судьба подобрала ее, как вихрь подбирает щепку, и ее, слабую, бесцветную, бесстрастную, заставила прикоснуться к великим тайнам бытия и смерти! И все это длилось какой-нибудь час, и все это было тому назад каких-нибудь пять минут, и все это еще не кончено, все это есть еще, но перестанет быть, как только она двинется…

И это она смутно ощущала, хоть и не думала о себе, когда в окровавленном подвенечном платье, опираясь на чью-то поданную руку, она, шатаясь и дрожа, поднялась по ступеням, вошла в темную переднюю, тупо осмотрелась и тут же у дверей опустилась на первый попавшийся стул. Нет, она не думала о себе, она забыла даже, кто она. Вот как „молодая“, мадам Борниш, вошла в дом своего мужа, вот как последняя графиня Кастель дю Пик вернулась в замок своих предков.

— Мадам Борниш! Где мадам Борниш? Вы не видели мадам Борниш? Мадам Борниш! — голос мадемуазель Пюжо четверть часа уже как раздавался по всем комнатам. — Ах вот вы где! В передней? — И вдруг, всплеснув руками, воскликнула: — В каком вы виде, моя милая! Да вы не можете так обедать!

— Я не голодна, — слабо отвечала Аделаида.

— Все равно, моя милая, во всяком случае, вам нужно черное платье, нельзя же так. — И, скользнув глазами по ее толстой талии, она прибавила как бы для себя: — Я надеюсь, что платье мама вам не будет слишком узко.

— Я надеюсь, — бессознательно повторила Аделаида. „Скромное притязание!“ — подумала Лина, злясь, что перлы ее колкостей пропадают даром.

Платье мадам Пюжо оказалось впору. Но когда Лина ввела Аделаиду в гостиную, где собрались в ожидании обеда те из гостей, которые остановились в замке, она не вынесла вида чужих лиц в такую минуту и слабеющим голосом сказала, что желала бы отдохнуть. Это не совсем согласовалось с планами Лины, которой особенно хотелось именно в эту минуту взвалить на бедную Аделаиду все почести хозяйки дома; она, которая при обыкновенных обстоятельствах не допустила бы отнять у себя малейшую тень первенствующей роли, она теперь — ведь всего на каких-нибудь два дня! — с какой-то радостью уступала свой скипетр, давала его на подержание. Но она не смела противиться

желанию Аделаиды, в особенности при гостях, а потому участливо и как бы обвиняя себя в непростительном недомыслии, воскликнула:

— Ах, конечно! Еще бы не устать! Пойдемте, не будем прощаться! — И, обняв ее за плечи, она повела ее наверх.

Она отворила дверь и пропустила ее в большую, роскошно, но безвкусно убранную комнату, с плюшевыми занавесками и атласной мебелью. Аделаида опустилась на стул, Лина подошла к ней и с ангельским участием сказала:

— Я думала, что вам будет особенно приятно именно в этой комнате провести первую, ужасную ночь, моя бедная Ада.

Холод сковал Аделаиду, когда она подняла глаза: перед ней стояла широкая постель; над высоким балдахином красовался резного дерева щит, на котором переплетались буквы A. и J.

— Я не буду мешать вам, — сказала Лина, обнимая новую сестру и, вкрадчиво ласкаясь, прибавила: — Но, не правда ли, вы останетесь со мной?.. Хоть несколько дней?

Аделаида уж больше ничего не слышала; она сидела как в тумане и не отвечала. Лина вышла недовольная: она любила, чтобы ее любили.

Аделаида всю ночь просидела на диване.

Она пробыла в замке до похорон, и эти два дня были полны для нее самых ужасных испытаний. Мадемуазель Пюжо развернула всю изобретательность своей ядовитой природы и под личиной самой нежной преданности, соблюдая все формы уважения к хозяйке дома, колола ежечасно.

То входил дворецкий: мадемуазель Пюжо приказала спросить, в какой комнате мадам Борниш прикажет, чтобы был поставлен катафалк; то являлась экономка: мадемуазель Пюжо прислала узнать, что больше понравится мадам Борниш для балдахина — креп или бархат.

Аделаида отвечала как могла; она думала, что это так и надо, что это обыкновенный порядок вещей; конечно, это было тяжело, но она решила не отступать ни от одной из обязанностей своего вдовства; мадемуазель Пюжо язвила, жалила, колола, но все пропадало даром, все разбивалось о великое спокойствие этой детской души, ничто не возмущало прозрачной глубины ее доверчивости: все, все падало пред святыней страдания. Она прошла свой крестный путь, свой сугубый путь невесты, супруги, вдовы, ни разу не заметив даже, что ее хотели оскорбить; ни разу судьба не допустила, чтобы она унизилась до понимания чужой низости, ни разу не осквернилась подозрением чистота ее окровавленного сердца.

Есть еще на земле такие души, которые ни разу не ступали в

тину. Они пройдут сквозь зло и не поймут чужого смрада; из земного мрака они вынесут свой светильник неугашенным, и все посягательства на их чистоту останутся бесплодными. Они неуязвимы для людского зла, как неуязвимы для жала змеи радужные крылья небесных серафимов.

VI

На третий день вечером в гостиной маленького домика на площади графиня Марта по-прежнему сидела в высоких креслах и раскладывала пасьянс, а графиня Аделаида по-прежнему сидела в низком кресле и вязала нитяное кружево.

На вид все было по-старому: никто бы подумать не мог, что над этими двумя так мирно сидевшими и, казалось, так тесно сжившимися существами три дня тому назад пронесся ураган. А между тем много успело измениться, и даже в эти первые часы перемена уже давала себя чувствовать. В чем? Трудно было бы сказать: ей, собственно, не в чем было и проявиться. Одна сестра была сама выдержка, другая — сама покорность, событий же настолько важных, чтобы заставить одну изменить своему самообладанию, а другую выйти из бездействия, в их жизни уже не было; и при таких условиях, конечно, внешнего проявления внутреннего разлада никогда не бывало, да и не могло быть — не представлялось повода. И тем не менее та тень, которая пробежала между ними тогда, в день сватовства, как будто все сгущалась; то нечто, которое тогда между ними залегло и чего графиня Аделаида не могла себе объяснить, расширялось все больше и больше и постепенно стало принимать размеры нравственной пустыни. Коренные различия их внутренней природы, долго уживавшиеся под внешними формами совместной жизни, понемногу начинали так резко давать себя чувствовать, что единственным средством предотвратить их столкновение было спрятать их за искусственной стеной молчания; и эта стена росла все выше, все плотнее, до самого того дня, когда разразилась вторая и последняя в их жизни катастрофа; в этот день стена рухнула: в ней не было уже надобности — им не о чем было говорить.

Графиня Аделаида вернулась в дом сестры с чувством смутного страха и… страха и стыда. Как вам объяснить это так, чтобы не вызвать улыбки? Мы над ней уж так много посмеялись, и неужели мы и теперь будем издеваться, после того как она столько перенесла? И как перенесла! Но вот видите ли, те несколько дней, когда ее детская, простая душа так мужественно

восприняла свое мученичество, были уже позади; то нравственное напряжение, которое подняло ее на уровень самых сильных, закаленных душ, не могло же длиться с таким характером, как ее; после всей этой бури должно было наступить затишье, и тем более неподвижное, чем менее она была подготовлена к налету бури предыдущей жизнью и самой своей природой. И вот, несмотря на то, что со времени отъезда она успела выйти замуж, потерять мужа, похоронить его и пройти через весь ужас своего мученического вдовства, она возвращалась домой такою же скромной, бедной Аделаидой, какой уехала.

Священные воспоминания тех трех дней она скрыла на дне своей пугливой души и хоронила от постороннего глаза с такой ревнивой любовью, что никто из тех, кто знал, через что она прошла, никогда не угадал бы ни объем ее горя, ни глубину ее страдания, ни той высоты, с какою она их перенесла. Да и каким языком, какими словами она бы о них поведала? И, наконец, — кому? Кому было какое дело? Она была с ним одна в карете, когда они ехали из церкви; она была одна, когда, обнимая его голову на своих коленях, она везла его в шарабане; когда у нее его отняли и понесли в чужой для нее дом, она осталась одна, и весь свой страдный путь она прошла одна, без чужой помощи. Нет, она никому не говорила о тех ужасных событиях. Посторонний мог подумать, что судьба взяла и вычеркнула эти несколько кровавых строк со страниц ее жизни: то, что было раньше, и то, что наступило теперь, было так похоже, что мало-помалу прошлое и настоящее сомкнулись поверх того события, которое, казалось, должно бы было навсегда их разъединить. И она, покорная и скромная, вошла в эту готовую обстановку своего прошлого и сейчас же нашла свое старое место: оно не было слишком мало для нее теперь, как не было и прежде, — напротив того.

Да, представьте, — как это ни странно, — ее место казалось ей даже слишком велико, она совестилась его. Вы только подумайте, какою она вернулась — и к кому!

Графиня Марта всю жизнь была для нее авторитетом, и ее замужество, которое было единственным ее самостоятельным шагом, было вместе с тем первым актом неповиновения сестре с тех пор, что она себя помнила; и вот как она за него наказана. Уж тут ее личное горе и священные воспоминания отступали на второй план, а выступали, так сказать, фактические результаты ее замужества: она лишилась своего имени, совершила неравный с общественной точки зрения брак, порвала со всеми традициями, унизилась до принятия подчиненной роли в доме своих предков — а что она за это все получила? Она принесла все жертвы и не

воспользовалась ни одним из преимуществ брака; она все упустила, ничего не приобрела, ничего, если не считать родства с мадам Пюжо. И вот она, как блудный сын, возвращалась домой и с замирающим сердцем спрашивала себя: „Что скажет Марта?“ Она смутно надеялась, что сестра хоть немного смягчит степень ее виновности и что после этого она сама, может быть, убедится, что и в ее положении можно смотреть людям прямо в глаза.

Но Марта ничего не сказала. И это молчание сразу закрепило в ней убеждение в непоправимости ее вины; оно вдавило ей в душу печать ее стыда; угрызения совести проникли в самую глубь ее сознания, и она, как павшая, взошла в свой дом и под недосягаемым величием своей девственной сестры проползла в свой угол.

Понимаете теперь, почему ей было совестно своего положения? Почему, когда ее знакомые начали приходить с визитами соболезнования, она горела стыдом, тем самым стыдом, который охватил ее в ту ужасную ночь пред постелью Борниша и перед бельем с меткой А.Б.? Все эти знаки внимания со стороны ее друзей, подходивших к ее руке, говоривших особенным каким-то голосом, их участливые взгляды, смущенное движение их рук, когда они вертели свои обмотанные крепом цилиндры, жгли ее. Разве не пытка — публично принимать знаки уважения за то, чего совестишься в глубине души? В каждом вопросе она видела намек, в каждом слове сострадания чувствовала укор. И это постоянное принижение привело наконец к тому, что она сама себя уничтожила пред своей старшей сестрой; если прежде она смотрела на нее снизу вверх, то теперь она уже не смела вовсе на нее смотреть; она, оставаясь на глазах у всех, нравственно пряталась, исчезала.

Вот какою вошла графиня Аделаида во второй фазис своей жизни, в то время как обычные гости понедельников говорили:

— А как графиня Аделаида освоилась со своим положением!

Нужно сказать, что в городе ее никогда не называли мадам Борниш, ее девическое имя так и осталось за ней; будемте и мы звать ее „графиня Аделаида“, — я свыкся с этим именем, да и вы, не правда ли?

— Да ведь ей легче же было, чем обыкновенно бывает в этих случаях; ведь она после этого не вошла в новую какую-нибудь обстановку, к которой бы следовало привыкать.

— Конечно, нет; для нее это не перемена образа жизни, а продолжение.

— Ну да, разумеется, — подтверждал старый друг доктор, — брак ее не привел ко вдовству, а вернул к девичеству. — И все согласились, что один только доктор Маке умеет проникнуть,

объяснить и одним словом исчерпать всю суть психологического явления. Но ведь „психология“ и была его специальность!

Понедельники возобновились скоро. Графиня Марта не могла решиться объявить траур по Борнишу, и после трех, четырех недель, в течение которых служанка говорила вечерним посетителям, что „дамы не совсем здоровы“, гостеприимные двери снова отворились. Все пошло по-старому, хотя и были некоторые особенности, отличавшие понедельники второго периода.

Так, например, гости некоторое время недоумевали, как им называть младшую сестру, когда они о ней говорили в третьем лице. Заметив это, графиня Марта при первом же случае несколько настойчивее, может быть, чем следовало, заговорив о ней, сказала: „Madame Adelaide“. Это было принято за указание. Для старшей сестры эти слова теперь, конечно, утратили уже всю прелесть версальской атмосферы, но, по крайней мере, это было дезинфекционное средство, раз навсегда изгонявшее имя „мадам Борниш“; Аделаида же не могла, как ни старалась, не могла привыкнуть: ей все казалось, что, говоря: „Madame Adelaide“, намеренно подчеркивают первое слово.

Затем гости заметили, что графиня Марта начала допускать некоторое расширение в выборе предметов разговора. Так, она однажды спросила присутствующих, чем, по их мнению, кончится делавший много шуму бракоразводный процесс в Лионе. В другой раз сама, — и очень это вышло естественно, так как-то к слову, говорили, кажется, об академии, — она упомянула о Золя. Кто-то отважился спросить, что именно она читала, и графиня Марта, пившая чай в это время, поставила чашку на блюдечко и сказала, что она никогда ничего не читала и читать не будет: „Вовсе не потому, чтобы я боялась читать известные вещи, но из принципа: я нахожу, что мы не должны поощрять некоторых авторов“. Все обратились в сторону графини Аделаиды, ждали ее мнения, и она между двух глотков чаю, покраснев, сказал, что она „не имела времени“… Некоторые гости думали видеть в этих словах намек на непродолжительность ее брачной жизни; но как же мало они ее знали, если могли так думать!

И вот потекли опять эти однообразные дни и вечера, в течение которых графиня Марта все выше и длиннее вырастала на своем резном седалище, а графиня Аделаида все ниже и ниже расплывалась в своем мягком кресле.

На этом месте их жизни мы, собственно, и познакомились с ними, с этого начали рассказ с целью объяснить, почему новичок кастельских понедельников имел основание ошибиться, когда его спрашивали — которая вдова, а которая дева? Зато теперь вы

поймете, почему это было так, почему разница между ними со временем не могла не увеличиваться все более, а главное, вы поймете, какой ужас должен был охватить каждую из них, когда над ними разразилась новая неожиданная катастрофа, которою закончилась эта тяжелая драма молчания, гнетущей тучей заволакивавшая их тусклое, серенькое небо.

Однажды вечером — графини Марты не было дома — графиня Аделаида сидела в гостиной, когда вошла девушка и подала ей большой заказной пакет на имя мадам Борниш. Она с недоумением повертела его в руках: она никогда не получала писем, и тут ей больно защемило сердце, когда она увидела на почтовом конверте то самое имя, в котором замкнулось все ее прошлое и которое она схоронила на дне души. Штемпель был парижский… у нее там не было знакомых… Она распечатала.

В конверте были: небольшая записка незнакомой рукой и довольно большой конверт, на котором с биением сердца она прочитала рукой покойного мужа надпись: „Графине Кастель дю Пик. Замок Кастель дю Пик. Департамент Нижних Пиренеев. Передать, когда меня не станет“.

Она схватилась за записку. Парижский нотариус „принимал на себя смелость“ препроводить к ней конверт, оставленный ему на хранение ее покойным мужем; он извинялся, что не исполнил этого ранее, но он восемь лет провел в Америке, и лишь по приезде узнав о трагических обстоятельствах, при которых единовременно произошли брак и смерть г. Борниша, он спешил вручить ей теперь то, что покойным так давно ей предназначалось; он не думал тогда, что та, на чье имя пакет адресован, будет его вдовой. Он просил „принять уверение“ и т. д.

Руки графини Аделаиды тряслись, когда она принялась за конверт своего мужа. Она ничего не понимала: нотариус говорит — восемь лет; как же муж мог о ней думать восемь лет тому назад, когда в то время она еще была в Нормандии? Ее руки тряслись, когда она начала распечатывать конверт, в котором ощупывала какой-то твердый предмет. Ее руки до того тряслись, когда она вынула письмо и когда на стол упало что-то круглое, блестящее, что она скорей разложила письмо перед собой, а сама ухватилась за стол, чтобы успокоиться. Она совсем, совсем ничего не понимала: письмо было написано двадцать пять лет тому назад и помечено замком Кастель дю Пик!

Она начала читать, но как трудно было! Строки дрожали, буквы смешались, так трудно, почти так же трудно, как когда она ребенком старалась читать… знаете, есть такие буквы: в суп кладут вместо вермишели, — почти так же трудно и теперь; но

она все-таки читает, понемножку, но читает. И Боже, этого уже довольно! И этого уж слишком много. Что она читает! Подумайте только, что она читает! Теперь она понимала письмо нотариуса, да, теперь она все, все понимала; почему сестра не хотела, чтобы она выходила за своего избранника, почему не отдала ей медальона прабабки, — все, все: ведь письмо было на имя сестры, и в этом письме она читала его извинения за нанесенное оскорбление, его извинения за удержанный на память медальон, она читала его обещания вечной любви, она читала позор своей сестры и открывала игру своего мужа!

Ее пальцы судорожно сжимали крышку стола, но руки дрожали слишком сильно, она сама вся начинала дрожать, а оторопелые взоры впивались в прыгавшие пред ней строки; она уж не читала, не могла читать: строки совсем путались, смешивались, сплывались, бумага была мокрая, — Аделаида плакала, плакала как малый ребенок. И как слезы начали лить, дрожь стала стихать, руки стали успокаиваться, пальцы отошли, и она, все плача как малый ребенок, усталой головой склонилась к столу и мокрой щекой припала к мокрой бумаге.

Вдруг послышался шум, она отдернула голову: входила сестра. Она только успела схватить письмо и скомкать его на коленях. Но на столе осталось что-то, и когда графиня Марта подошла, опустилась в свое кресло и вдруг посмотрела на стол, это что-то приковало ее взоры и заставило остолбенеть: из золотой рамки с средины стола наглыми глазами прабабки смотрели на нее — грех ее молодости, позор ее имени, обман всей ее жизни.

Как он сюда попал? Откуда он всплыл? Что это за письмо на столе лежало?.. Сестра знает! Она чувствует, что сестра знает, что она теперь все знает, но она не смеет шевельнуть губами, не смеет сделать ни одного вопроса. Теперь она встревожилась; ее уверенные руки не находили себе места, она ухватилась за карты и скоро-скоро начала тасовать, и так торопливо дышала, такие пятна вдруг проступили на ее лице, в то время как сестра взялась за свое вязанье и тихо, тихо начала водить стальным крючком, а слезы так и капали и смачивали нитяное кружево.

В комнате темнело. Отворилась дверь, ворвалась полоса теплого света — служанка вошла с лампой; старшая сестра сделала знак головой, служанка повернулась, свет пропал, дверь тихонько притворилась, в комнате опять стемнело. Сестры все сидели — одна все тасовала карты, другая все как будто вязала, а между ними на столе, в этом маленьком круглом предмете, лежала и блестела в темноте разоблаченная тайна их прошлой жизни.

Спускалась ночь. Сестры все сидели, а между ними стол как будто раздвигался и все шире, шире залегала пустыня молчания.

Ночь совсем спустилась. В окно прокралась луна, и первый луч скользнул по медальону — сестры все сидели; одна тасовала карты, другая водила стальным крючком…

В лавочке мадам Омэр было так же душно, как и накануне, когда я с моим приятелем нотариусом завернул туда на другой день вечером.

Я прямо подошел к знакомой витрине, взялся за крышку, но не отворил — медальона не было.

— Где тот медальон, который я смотрел вчера? Хозяйка взглянула через очки.

— Куплен сегодня утром.

— Кем? — воскликнул я.

— А вот посмотрите в книге.

Я посмотрел, на последней строке стояло: „медальон эпохи Людовика XV“, затем следовало имя одного известного парижского комиссионера и против него — 235 франков.

Мы посмотрели друг на друга и вышли из затхлой лавочки на вечерний простор…

Через неделю я сидел в кофейне и пробегал нумер „Фигаро“. На первой странице мне бросились в глаза следующие строки:

„Великолепный дом нашего известного банкира и мецената барона Горна на Пресбургской улице скоро станет одним из самых богатых частных музеев в Европе.

На днях любопытнейшая в своем роде коллекция любовниц Людовика XV пополнилась еще новым экземпляром. В девятой витрине, на пятом месте после мадам Дюбарри, долго остававшемся незанятым, теперь помещается прелестная миниатюра с чертами графини Маргариты Кастель дю Пик. Этот медальон, единственный сохранившийся из ее портретов, составит, конечно, один из лучших нумеров богатой коллекции; он принадлежит кисти знаменитого Натура, и, как мы узнали, за него заплачено всего 4500 франков.

Поздравляем барона с находкой“.

Мне не было завидно: барон владел медальоном, я владел тайною его.

ГЛАВА 5
Америка

В Америке я был два раза. Раз в 1893 году в качестве комиссара от министерства народного просвещения на Чикагской выставке; другой раз в 1896 году по приглашению некоторых американских учреждений с курсом лекций по русской истории и русской литературе. Первый раз я пробыл от апреля до Рождества, второй раз пробыл три месяца. Об Америке трудно писать; мне по крайней мере трудно. В Америке мало живописности; не живописностью она запечатлевается в памяти, и внешние формы мало отличны от европейского среднего городского типа; различие не в формах, а в размерах и в количестве. Америка не есть предмет кисти, она предмет пера; для ее описания нужны не краски, а цифры. Да, больше всего Америка говорит цифрами. Но и в ней живут люди, свободно, глубоко, разнообразно. А разнообразие, с которым проявляется великое единство человеческой природы, разве не ценный предмет наблюдения и в нем разве не красота? Прелестный американский мыслитель Эмерсон сказал: «Где только есть просвет в небесную лазурь; где есть опасность, или ужас, или любовь — там красота». А где красота, туда, каюсь, туда меня тянет. Напишу о своем двукратном посещении Америки, сколько помню и как умею.

Великолепен въезд в Нью-Йоркскую гавань в ясное, солнечное утро. Как огромное озеро, расстилается она у ног величественной статуи Свободы, держащей маячный фонарь в высоко над головой вытянутой руке. В глубине гавани огромный город в гору громоздится. Над ним в одном месте золотой купол блестит. Мой европейский глаз ждал церкви — оказалось, это здание газеты «World». Налево от города вливается в гавань широкое устье Гудзоновой реки, а направо в тумане морской дымки вырисовывается остров Бруклин со своим городом, и между ним и Нью-Йорком повис над морем, как тонкая паутинка, висячий Бруклинский мост. Статуя Свободы — дар Французской республики своей заатлантической сестре. Во второй раз, когда приехал в Америку, я подъезжал вечером, и тогда факел в руке Свободы горел и вокруг него, заманенные светом, летали сотни птиц; многие с такой силой ударяются в фонарь, что убиваются до смерти; вокруг фонаря пристроена сетка, они туда падают…

Второй мой приезд был любопытен. Великолепный пароход «St. Paul» новой «Американской линии», вышедший из

Саутгемптона, совершил переход в сравнительно краткое время — меньше недели. Но ничто не кратко, когда замешивается соревнование. Мы шли вдоль американского берега к северу, когда показался другой пароход; красиво в ночи огне-глазастое пыхтящее чудовище. Началась гонка, кто скорее дойдет до того места, где надо свернуть налево, на запад… Долго гнались, я пошел спать. На другой день утром просыпаюсь — мы стоим на мели: пароход поторопился свернуть и уткнулся, к счастью, в песок, не об скалы. Было туманно и неспокойно. На берегу виднелось здание — спасательная станция. Перекинули веревку; там люди веревку подхватили и натянули. По этой веревке спустили корзину, в корзине — телеграмма в Нью-Йорк. На призыв этой телеграммы прислали из Нью-Йорка пароходы. Полдня прошло в напрасных усилиях поднять нас — только вода мутилась… Наконец к вечеру сказали нам отобрать наименьшее количество багажа: нас снимут на шлюпки и пересадят на маленький пароход. Я взял в карман зубную щетку и под мышку портфель со своими лекциями.

Какое гордое чувство испытываешь, приезжая в Америку со своим делом; входить на эту землю не в качестве туриста, а в качестве работника — это есть одно из приятнейших оправданий своего существования.

И я воспользовался этим преимуществом; я пошел в лучшую, в то время, гостиницу «Уолдорф», заказал хороший ужин с чудными американскими устрицами «blue point» (с синей точкой в середине раковины). Да, Америка — единственная страна в мире, где стыдно ничего не делать. Была прелестная карикатура в одном американском журнале. Молодой человек из иностранцев говорит американке: «Недочет в вашей стране, что у вас нет досужего класса». Нет, есть, отвечает она, мы зовем их бродягами. Удивительная страна Америка. Как она умеет заставить работать, как развивает работоспособность и работоготовность. И это делается само собой, без понуждения, без плакатов и надписей на стенах, как в Советской России, о том, что, «кто не работает, да не ест». Нет, это в воздухе, это в корнях той жизни, которою всякий живет. Как детей учат плавать, кидая их в волны, так жизнь учит работать: выпутывайся как умеешь, коли умеешь. Не всякий умеет и не всякий сразу приспособится; и надо сказать, что первое впечатление страшное. Поражает эта спешка жизни: свистки, колеса, грохот, гудение — вечная спешка, отсутствие праздности, отсутствие отдыха, движение вперед, безжалостное отсутствие оглядки. Вам случалось когда-нибудь в детстве попадать на фабрику, с колесным верчением, с гудением: молоты, поршни, ремни, огнедышащие жерла — и вдруг вы потеряли старших?

Знаете это чувство страха, осиротелости? Вот таково первое впечатление. Потом понемногу свыкаешься. Вокруг вас бегут, и вы побежите: поневоле побежишь, если не хочешь отстать…

Америка сурова. И это удивительная школа. Многим я обязан Америке, но прежде всего способностью в труде пренебречь обстановкой. Если сейчас пишу в маленькой комнате Шереметевского переулка с одним окном на темный двор, в квартире, уплотненной до последних пределов возможного, рядом с комнатой, где с семи часов утра визжат и кричат четверо «пролетарских» детей; если среди всего этого и многого другого, что приходится претерпевать, могу работать со спокойной и ясной мыслью, — обязан этим Америке, ее суровой, безжалостной школе. Безжалостность разлита там в воздухе, она сказывается в самых мелочах. Когда на улице спрашиваете указания, как пройти туда-то или иную какую-нибудь справку, вам отвечают только-только сколько нужно; и это малое преподносится вам в такой оболочке безразличия, что иногда жутко становится, — ничего человеческого, отвечающая машина.

О, обходительность латинских рас! Как далеко она; забыть о ней надо; главное, не надо ждать ее, не надо рассчитывать ни на что большее, чем минимум необходимого. И это действует ужасно на человека, не успевшего закалить себя. Нигде человек не доходит до большего предела усталости, изнеможения, до большей душевной замотанности, чем в Америке (конечно, за исключением Советской России). И нигде психологическое состояние вопрошающего не находит меньшего отклика в отвечающем, чем там. Какой бы ни был градус каления, ответ всегда одинаково сух — to the point (в точку). Разве не безжалостный обычай — когда приходите в ресторан, набегавшись, намучившись, голодный, с пересохшим горлом, валитесь на стул, умоляете чего-нибудь поесть или выпить, а прислуживающий негр молча кладет перед вами карточку блюд, блокнот и карандаш и уходит. Да, «выпутывайся». Это приказание проникает все ответы на все запросы…

Когда я поехал в Америку, я знал английский язык очень мало, по-домашнему. Но такова зараза тамошнего воздуха — на второй месяц я уже читал доклады и публичные лекции. На выставке Чикагской был такой обычай, что главный комиссар каждой народности давал банкет американским хозяевам выставки. Наступил черед и русского банкета, и наш комиссар просил меня сказать приветственную речь. Это было первое мое выступление; после этого посыпались приглашения. Русским комиссаром был некий Глуховской, человек тупой, грубый и чванный. Он был камергер и ужасно своим званием кичился.

Когда секретарь предлагал ему официальную бумагу к просмотру, он отбрасывал ее в сторону, если там не стояло рядом с его фамилией — chamberlain. Он был красный, надутый; придворный мундир на нем был готов лопнуть. Он был самодур, и иногда получались от этого неожиданности. Был в Чикаго в то время подвизавшийся в выставочных ресторанах «малороссийский хор». Когда было назначено открытие русского отдела, приехал на это торжество из Сан-Франциско наш архиерей, преосвященный Николай Алеутский. Докладывают Глуховскому, что малороссийский хор предлагает во время молебна петь. Только спрашивают как — в костюмах или не в костюмах. «Конечно, в костюмах», — отвечал Глуховской. Отделы русские, как и все, были распределены в разных зданиях, раскинуты по выставке; ходили с водосвятием от одного к другому. И вот можете себе представить эту процессию: архиерей, два священника и дьякон в облачениях, мы все за ними в мундирах, а впереди хор «малороссиян» «в костюмах» — венки из маков и овса, ленты, бусы, шаровары и папахи…

Вспоминаю день официального открытия выставки. Вот уж за что можно поставить двойку американцам, это за устройство парадных торжеств. Никакой организаторской способности в церемониальной части. Было туманное апрельское утро. Выставка к открытию не была готова; валялись доски, известка, и дороги вокруг зданий представляли желто-красное месиво. После официального открытия с речами был большой парадный завтрак. На этот завтрак только главные комиссары имели именные места; мы же все должны были рассаживаться где попадется. Но нахлынула такая толпа посторонних, что мы остались за флагом. Пошли искать завтрака где-нибудь на выставке; по красно-желтому месиву шел я в своих белых с галунами камер-юнкерских брюках. Нас ждала осечка: рестораны были открыты, барышни-прислужницы стояли за буфетами, но обеда нельзя было получить — купоны не были готовы…

Тут любопытный случай. Был в нашем комиссариате молодой человек вроде курьера, хорошо говоривший на языках, исполнявший поручения, что называется на побегушках. Фамилии его не помню, но он был очень маленького роста и шел под кличкой «Чикен», по-английски «цыпленок». И вот в то время как мы в мундирах, голодные, шлепали по грязи в поисках завтрака, Чикен преспокойно сидел за столом рядом со столом президента Кливленда. По поводу этого Чикена еще вспоминаю. Много лет после того читаю однажды в иллюстрированном приложении к одной из петербургских газет, в отделе «Смесь», что в русском консульстве в Чикаго умер служивший там такой-то, и когда он

умер, оказалось, что это женщина. Был приложен портрет; смотрю: Чикен.

Президента Кливленда я видел не только на открытии. Перед тем как отправиться в Чикаго, мы, русские представители, из Нью-Йорка поехали в Вашингтон побывать в русском посольстве. Послом в то время был князь Кантакузен; он сказал нам, что приличие требует, чтобы мы представились президенту. В назначенный час мы были в Белом доме. Кливленд принял нас в круглой зале, где стояли стулья по стенам. Князь Кантакузен нас представил поименно. Президент стоял, и мы стояли. В нашей группе была сестра моей невестки, княжна Маня Шаховская, заведовавшая нашим кустарным отделом. Президент был разговорчив, и беседа затягивалась. Вдруг Маня Шаховская отходит в сторону, садится на один из стульев у стены. Это был с ее стороны «урок» президенту…

Как я сказал, после русского банкета посыпались приглашения. Первое выступление, по-видимому, произвело хорошее впечатление. Тут же после обеда подошла ко мне вице-председательница женских конгрессов, г-жа Генро-тин, и просила прочитать у них доклад о женском образовании в России. Тема была не обширная, в особенности в те времена, материалы у меня были с собой. Я хорошо подготовился и хорошо прочитал. После этого я уже не переставал читать и на конгрессах, и в литературных клубах, и по приглашению учебных заведений. Конгрессы были интересны, в особенности конгресс религий. О нем у меня сохранился отчет, в свое время напечатанный в «Вестнике Европы» (март 1895-го). Статья эта заслужила одобрение Владимира Соловьева, попавшее в Полное собрание его сочинений; поэтому не колеблюсь дать ей место и на этих страницах и выписываю ее целиком в следующей главе.

Говоря о зарождении моей лекторской карьеры, должен помянуть милого старика профессора Нортона. Встретился я с ним в первый раз на обеде у некой г-жи Маквей в Чикаго. Дом ее стоял на набережной озера Мичиган, в так называемом «северном» квартале. Весь Чикаго делится на «юг» и «север». Когда-то был один только юг, но после страшного пожара в семидесятых годах, который от всего города оставил один только дом, новый город разделился: на юге остались магазины, конторы, учреждения, а хозяева, все богачи, перенесли свои «резиденции» на север. Возникла восхитительная набережная, окаймленная деревьями, с рядом великолепных домов. Здесь сыграла значительную роль известная г-жа Потер Пальмер, которая во время выставки была председательницей женского отдела. Скажу несколько слов о ней, а к г-же Маквей и к

профессору Нортону вернусь после.

Умная, деловитая, г-жа Потер Пальмер сразу поняла, какую ценность после пожара будет иметь северный берег озера, и скупила его на очень большом протяжении. Продавая отрезками, она в несколько лет увеличила свое состояние настолько, что в богатом Чикаго стала самая богатая. Ее дом, как гранитный замок, стоит при самом въезде на набережную — № 1. Очень красивая, родом из Нового Орлеана, с той южной мягкостью, которая свойственна уроженкам этого города, она отличается среди американок редкою в этой стране музыкальностью речи. При всей выдающейся ее деловитости и серьезности она вместе с тем представляет воплощение той светской мелочности, которою снедаемо американское «высшее общество». В стране, где богатство заменяет породу, она сумела к наибольшему богатству присоединить наивысшую выработку общественных форм. Она стала «королевой» своего города.

Я бывал в ее доме. Когда я приезжал во второй раз, она даже дала обед «в мою честь». Помню, тут произошло неприятное недоразумение. Она заблаговременно, еще до моего прибытия в Чикаго, справилась, в какой день я свободен; день обеда был назначен, но, как часто со мной бывает, я забыл и принял на тот же день приглашение на лекцию в Чикагском университете. Конечно, лекции надо было дать преимущество; пришлось писать извинительное письмо, и г-жа Потер Пальмер перенесла свой обед на другой день. Чествовать обедом — это в Америке высший знак почетного гостеприимства. Роскошь не поддается описанию. Хрусталь, серебро, золото, самые редкие цветы на скатерти старого венецианского кружева; все это до такой степени слепит, что пища, которую вкушаешь, становится подробностью. Женщины ослепительны, брызжут здоровьем, одеты больше с блеском, нежели со вкусом; в разговоре многоречивы и громки; мужчины наоборот: сдержанны, малоподвижны и мало слышны. Но все вместе производит впечатление какой-то игры; играют в «большой свет», как дети играют в «гостей». Большая «детскость» во внешнем обращении американской женщины, со всем хорошим, что есть в этом слове, то есть детскость в радости, детскость в серьезности, детскость в честности. Эта сторона американки, которая многим европейцам малопонятна, скоро надоедает, по-моему, придает большую прелесть личным отношениям, в ней и ценность и отсутствие тяжести. Но в смысле общественном она сообщает собраниям характер чего-то деланного; как я сказал: игра. Получается очень странное сочетание: при простоте характеров деланность форм. Иногда это очень надоедливо, На меня в конце концов очень тяжело

ложилась эта комедийность американской светскости.

Да и вообще трудно мириться в этой стране огромных пространств, бесчисленного населения, несметных богатств, трудно мириться с мелочностью, создаваемой житейскими перегородками. Русскому человеку, попадающему туда, тяжело. Странно: несвободно в стране свободы. Помню, однажды в Нью-Йорке мне передали приглашение на вечер в незнакомый дом — хозяйка русская и жаждет видеть соотечественника. Прихожу, встречает меня статная старуха. Оказывается — внучка последней грузинской царицы, замужем за американским доктором. Она увлекла меня в угол… Лились воспоминания. Я никогда от незнакомого человека не слыхал столько поведанного близкого, частного, личного. Я затруднился бы что-нибудь вспомнить; я знал, что это мне говорится не для того, чтобы я вспомнил; есть речи, для которых важно устье, в других важен исток. Я слушал не слыша; помню только: «Кавказ… царица… институт». Помню беспокойный веер, помню на черном платье вместо брошки бриллиантовое «А» — фрейлинский вензель и помню никогда так ясно не испытанное ощущение клетки… Как крыло, бился черный веер. Это были кавказские горы в нью-йоркской тесной квартирке…

Много странного в укладе американской жизни, то есть в том, что составляет «высшее общество» (the upper set). В этой стране равенства развито, как нигде, чинопочитание.

Вы скажете: как почитать то, чего нет? Но классы создаются там, где их нет. В Нью-Йорке есть так называемые «пятьсот» — это потомки тех первых выходцев из Англии, которые пришли на корабле «May Flower». Так много народу теперь заявляет права на это происхождение, что корабль, наверное, пошел бы ко дну, если бы действительно привез всех тех, на кого указывают потомки. Это есть, конечно, своего рода «знатность», но понятие знатности в Америке совершенно опрокидывается вмешательством капитала. Тут происходят самые невероятные перестановки, и все склоняет голову перед силой золота. Я спросил одну даму:

— Вы знаете такую-то?

— Я была с ней знакома прежде, но теперь она слишком богата для меня.

Это, так сказать, пример скромности; а вот что мне сказала одна чикагская дама, когда я ее спросил:

— Вот в Нью-Йорке, там есть знаменитые «пятьсот». А сколько, вы думаете, их в Чикаго?

— Я думаю, — сказала она с расстановкой, — что нас восемьдесят.

А я подумал: наверное, продвигаясь от Чикаго еще на запад, я

наконец дойду до деревушки, где какая-нибудь встречная девушка на мой вопрос «Сколько вас?» ответит, как в известном стихотворении: «Нас семеро». Я много раз это говорил на публичных лекциях. Мне это сходило: американцы любят, чтобы им про них же рассказывали, и принимают самую горькую критику, когда она подана в облатке юмора.

В этой стране равенства любят все, что внешне отличает. Там масса клубов, обществ, следовательно, несметное количество людей, которые перед своей фамилией могут поставить: «председатель, вице-председатель, секретарь» и т. п.; наименования должности или звания прилипают к человеку так же крепко, как и его имя, и остаются за ним навсегда, даже по выходе в отставку: senator, major, governor, judge (сенатор, майор, губернатор, судья). Должен, однако, сказать, что это чинопочитание есть только внешний спутник светского обхождения; оно совсем не заражает собой деловитую, служебную сторону жизни. Там, наоборот, царствует удивительная простота отношений. Помню, был я в кабинете того, что по-нашему был бы попечитель учебного округа штата Миннесота. У него сидело человека три подчиненных. Был июль месяц, и двое из присутствующих были в одних жилетах. Помню, как пленила меня простота взаимоотношений. По тому, как говорили люди друг с другом, никак нельзя было определить, который начальник, который подчиненный. Ясно я ощутил, что американское чинопочитание есть некоторая игрушечность, невинная сама по себе, а не духовная зараза, как в некоторых странах Европы.

В этой стране равенства любят все, что внешне выделяет. На общественных балах при входе в зал стоит «хозяйка бала», но стоит на коврике, и рядом с ней несколько дам, которых она приглашает принять участие в «принимающей группе»; они выстраиваются на ковре. Все входящие дамы перед ними приседают, они отвечают приседанием. Разве не игрушки? Попасть в «принимающую группу» большая честь. На другой день с трепетом раскрывается газета: прочитать свое имя на втором или третьем месте — какое удовлетворение. Газеты очень выделяют эту сторону жизни и поощряют снобические склонности. В Бостоне есть маленькая еженедельная газетка «Town Topics». Она доходит до последней степени наглости в описании и обсуждении внешности дам; и тем не менее все накидываются на нее и, ища собственное свое имя, с завистью читают чужие имена. Я был однажды в одном доме, где на столе лежал номер этого отвратительного листка. Хозяин с гордостью показал мне, что в первый раз он и жена упомянуты на страницах

«Town Topics». Это смешная и гнусная сторона американской жизни; и печально, что в печати она находит поощрение.

Газеты американские, в смысле воспитательном, играют не почтенную роль. Они шумливы, набрасываются на внешнюю сторону явлений; они выдумывают крикливые заглавия, наполняют столбцы пустяками. Помню, в Чикаго, в зоологическом саду, родился маленький гиппопотам.

Казалось, довольно двух строчек в отделе «Смесь». Нет, целые столбцы в газетах — «Маленький гипо в нашем зоо». Интервьюерство сильно развито (кто этого не знает), но критики, настоящей, нет. После моих лекций описывали мою наружность, но по существу — ничего. Иногда перепечатывали программу лекций. Однажды, входя на кафедру, я забыл отвернуть подвернугые брюки. Вот тут я, то есть мои брюки, удостоились целого столбца.

И только после последней моей лекции в Чикаго появилась оценка прочитанного курса и лектора как такового. Когда я спросил сведущего человека, почему такое внимание приберегается к концу, потому, сказал он, что если бы это было сделано раньше, это бы вам послужило рекламой, а за рекламу в Америке надо деньги платить; даром ничего не делается. Очень неприятная сторона американской газеты, что статьи без подписи. Эта анонимность придает нечто безапелляционное, что на обывателя действует, конечно, очень авторитетно…

Вернемся к г-же Маквей, той, которая познакомила меня с милым профессором Нортоном. Ее дом по набережной Северного берега был № 3. Милая, добрая, гостеприимная. Во второй мой приезд в Чикаго она потребовала, чтобы я у нее в доме остановился.

— Но, миссис Маквей, я пробуду в Чикаго три недели.

— Хотя бы три года.

Ее муж был пример самого тонкого, образованного, воспитанного американца, что не мешало ему заниматься своими торговыми и денежными делами. Всякий американец имеет дом и контору; в конторе — дела, дома — отдых. «Business» (дело) поглощает его всего, это альфа и омега американской жизни. Помню, одна дама мне рассказывала, что однажды старик Пульман, изобретатель «пульмановских вагонов», жаловался ей на усталость.

— Почему вы не бросите ваш бизнес и не отдадитесь какому-нибудь увлечению — спорту, коллекционерству?

— But business is my hobby. (Но бизнес и есть мое хобби.) Это очень характерно. Уклад жизни атрофировал в них те ощущения, которые связаны с отдыхом, с передышкой. Мне всегда казалось,

что у нас какой-нибудь лавочник в уездном городе, сидя на завалинке и глядя, как вечером в пыльном облаке возвращаются коровы домой, больше наслаждается отдыхом, чем Пульман за своим обеденным столом. Я раз обедал у Пульмана. Его жена была очень простовата и совсем не сочеталась с окружающей роскошью. Она точно будто не умела приспособиться к неожиданно свалившемуся наследству. На столе, среди хрусталя и серебра, лежали розы и орхидеи, полузакрытые перистым папоротником. Помню, когда сели за стол, она вполголоса обратилась к слуге: «Свет!» И под папоротником, как светляки, загорелись крохотные электрические лампочки…

В Америке, то есть в некоторых американских домах, роскошь подавляет не тем, что она есть, а тем, что она так обладателем подчеркивается. Имеешь иногда впечатление, что на всех вещах значится оценка их; она как будто никогда не забывается. Право, иногда кажется, что с тарелок, на которых вы едите, только сейчас смыто обозначение цены. Помню рассказ А.И. Нелидова, нашего посла (в Константинополе, в Риме, в Париже). Он однажды обедал у одной богатейшей американки. Стол утопал в роскоши. В особенности поразила его посуда; к каждому блюду новый сервиз; наконец, к десерту подают такое великолепие, что он, любитель и знаток, перевернул тарелку, чтобы посмотреть метку фабрики. Увидав, что это один из редчайших севров, он поздравил хозяйку с ее удивительным сервизом. Она только махнула рукой:

— Если бы вы видели, что мы подаем в парадных случаях… (dans les grandes occasions).

Опять я отвлекся от г-жи Маквей. Она сочетала интересы светские с умственными. К моим лекциям она относилась с трогательной внимательностью; ни одной не пропускала, перечитывала их на дому, подбирала мне знакомства, которые могли мне быть полезны в моей поездке по университетам. Прямо скажу: как к родному сыну она ко мне относилась там, на далекой чужбине. Вот трогательный случай. Когда я жил у них и читал лекции по приглашению Чикагского университета, всякий раз она отвозила меня на лекцию в собственной карете — после обеда, как заведенные часы. Прошла и последняя лекция; через два дня я уезжал. Накануне отъезда мы поехали в концерт. Едем; вдруг на углу одной улицы она вскрикивает:

— Вы не заметили?

— Что такое?

— Лошади хотели повернуть направо. Они думали, что мы на вашу лекцию!

И в том, с какою трогательностью она отметила постоянство

лошадей, я видел, как ей дорого все, что касается моей работы.

Милая, добрая миссис Маквей. Но и она была заражена зудом светскости.

— Конечно, все это очень хорошо, что вы читаете, — история, литература, Тургенев, Толстой. Но вам, право, нужно когда-нибудь прочитать и о светской жизни в Петербурге.

— Разве так интересно?

— Как же! Россия так далека от нас, мы так мало знаем… Например, — когда у вас сезон?

— Начинается осенью, продолжается до великого поста. Иногда после Пасхи бывают еще балы. Очень красивы эти весенние балы…

— Вот и расскажите об этом в вашей лекции, князь, употребите это самое выражение — «весенние балы». Понимаете, Россия так далека, мы так мало знаем… и т. д. и т. д.

Милой, доброй миссис Маквей не удалось меня убедить; к тому же муж ее не поддерживал ее настроений. Итак, в третий раз, кажется, об этом упоминаю, в ее доме я познакомился с профессором Нортоном. Джордж Элиот Нортон, цвет ума, культуры, обворожительный в обхождении, был профессором Гарвардского университета под Бостоном, специалист по литературе и истории искусства. Он был украшением человеческой расы. Он был уже очень пожилым, когда я его знал, но я никогда не видал такого сочетания старости и молодости, как в этом человеке, и как старость с молодостью, так сочетались в нем серьезность с юмором. В нем искрилась тонкая критика, звенел тонкий смех, которому он, однако, никогда не позволял разражаться, — точно держал его на поводу. Он был последний представитель того поколения людей «Новой Англии», которые еще говорили с настоящим английским произношением, без той отвратительной американской гнусавости, которая с каждым новым поколением увеличивается. Он принадлежал к кругу таких людей, как философ Эмерсон, поэт Лонгфелло, писатель Лоуэль. Он был их другом, и в нем жил еще тот дух идеализма, который так выдохся в последующих поколениях. Вспоминаю два рассказа его об Эмерсоне.

К старости знаменитый писатель утратил память. Во время Гражданской войны за освобождение негров устроили в Бостоне лекцию Эмерсона в пользу раненых. Уже давно не выступал старик. Самая большая зала Бостона была битком набита. Эмерсон всходит на кафедру: «Ladies and gentlemen!»… Молчание. Все ждут. Молчанье продолжается, становится томительным. Эмерсон не знает, что сказать. И вдруг разражается вся зала оглушительными рукоплесканиями. Эмерсон в слезах, молча

раскланивается. Рукоплескания не умолкали, пока он не сошел с кафедры. Лекции не было, но сбор был полный.

Другой рассказ Нортона. Они вместе с Эмерсоном провожали гроб поэта Лонгфелло. Эмерсон, покачивая головой, говорил, указывая на печальную колесницу: «Я не помню, кто он был, но помню, что он был хороший человек».

Ко мне Нортон с первой минуты нашей встречи отнесся с таким признанием, какое я после редко в жизни встречал. Храню память о нем как одну из самых дорогих. Признание моей работы, подтверждение моих суждений, оценок со стороны такого человека были для меня более, нежели наградой, это было путеводным знаком. Всегда, когда думаю о нем, вспоминаю изречение, которое читал у Дарвина: «Для молодого человека полезно одобрение старика, оно помогает ему идти по верному пути». Кстати, Нортон был очень дружен с Дарвином. Рассказывал, что Дарвин был мучеником. В молодые годы он страдал грудью; чтобы вылечиться, он по совету врачей совершил морское путешествие на парусном судне в Австралию и Полинезию. Здоровье свое он поправил, но на всю жизнь осталась у него морская болезнь на суше.

Нортону я обязан моей лекторской карьерой в Америке. Он пригласил меня после закрытия выставки приехать к нему в Гарбарб. Его дача называлась «Shady Hill» (Тенистый пригорок). Он был вдовец и жил с тремя дочерьми. Старшая была очень хорошенькая и играла на скрипке; у них был ее портрет работы знаменитого английского живописца Берн-Джонса. Другие две были некрасивы. Так как Нортон занимался изучением Данте и издал английский перевод «Божественной комедии», студенты Гарвардского университета прозвали его дочерей: «Paradise, Purgatorio, Inferno» («Рай, Чистилище, Ад».) Нортон, между прочим, перевел и издал переписку Гёте с Карлайлем. У меня был экземпляр этого тома, им самим мне подаренный. У меня было много писем его, интересных и прекрасным, сильным почерком написанных… Нортон прелестно читал, в особенности диалоги; в них всегда чувствовалось три лица: разговаривающие и он сам, его отношение к разговаривающим. Редко видал, чтобы с такою радостью встречали человека, как его, когда он входил в гостиную. От всей его природы исходило что-то примиряющее; самые жгучие вопросы в его устах теряли остроту. Однажды мы говорили о возможных столкновениях принципа эстетического и этического, идеи красоты и идеи добра. Он сказал: «Тем, что роза прекрасна, она уже делает вас лучше». Весь его облик духовный рисуется мне как ровный закат солнца, склоняющегося, но не теряющего своего сияния.

В гостеприимной обстановке отдохнул я от чикагской сутолоки; прочитал несколько лекций в университете и в студенческих клубах, в то время как Нортон написал обо мне в некоторые другие университеты. В Гарварде я видел много интересных людей; между прочим, ставшего знаменитым вспоследствии психолога Уильяма Джемса и известного исследователя по экспериментальной психологии, немца Мюнстерберга. Сохраняю самое горячее воспоминание о пребывании в Гарвардском университете. Студенты были гостеприимны, не раз чествовали меня в своих клубах; профессора были внимательны не по заслугам; ректор университета — там это называется «президент» — Элиот предложил мне кафедру русской литературы. Нортон окружил меня заботливостью, как если бы я был его внук.

В тот первый мой приезд в Америку было у меня три лекции, с которыми я выступал: о женском образовании в России, о конгрессе религий в Чикаго и — мои впечатления об Америке. Во всех моих выступлениях я старался разбивать заморские предрассудки относительно России. Там мало, вернее, совсем России и русских не знают. Обычный трафарет о снеге, волках, тайной полиции поддерживается и ежедневной и всякой печатью. Все, что не имеет этого запаха, не имеет успеха и даже внушает сомнение. Одна американская барышня мне пренаивно поведала, что ей мало нравятся русские романы и повести, в них мало типичного; ей гораздо больше нравятся американские романы про Россию — они гораздо более «русские». Для разбития этих предрассудков у меня был совсем особый прием. Я хорошо сознавал, что, становясь на русскую, патриотическую почву, я ничего не достигну. Патриотизм есть чувство субъективное, похвальное, но объект его для иностранца лишен заразительности. Кто же не патриот, кто не любит своей страны? Но это не значит, что иностранец, не любящий чужую страну, несправедлив. Любить свою страну похвально, но любить чужую вовсе не обязательно. Вот почему не на почву субъективного патриотизма я становился, а на почву общечеловечности. На нелепые вопросы, которые мне ставились о России и русских, я не отвечал негодованием, а я на лекциях их повторял и разбирал со стороны человеческой несправедливости; иногда я их высмеивал, сопоставляя с некоторыми условиями американской жизни. Когда в одной бостонской газете отчет о моей лекции был озаглавлен «Впечатления татарина об Америке», я на следующей лекции нарочно упомянул о татарском иге и свержении его и сказал, что назвать меня, русского, «татарином» — это то же самое, что назвать вас, бостонские леди и джентльмены, именем какого-

нибудь индейского краснокожего племени только потому, что прежде вас они жили на этих самых местах. Я не говорил, что в России нет тайной полиции (где же ее нет), но я стремился зажечь их прекрасными сторонами русской жизни, русского искусства, русской души, как она в искусстве выразилась. Я вызывал в них братское отношение и потом упрекал за отсутствие такового в их обычных суждениях о России и русских. Я выставлял узость их сектантства, отсутствие человечности в национальных, политических, классовых и иных предрассудках. В конце концов я совсем вышел из оборонительной позиции обиженного патриота, а стал в положение глашатая начал справедливости на почве общечеловеческого братства. Иногда это давало довольно неожиданные результаты. Одна слушательница после лекции подошла ко мне и, очевидно, оставаясь на почве общепринятых понятий о «русском» человеке, спросила меня:

— Вы нигилист?

— Почему вы так думаете?

— Потому что я считала, что то, что вы говорите, — это американские идеи, а не русские.

— А разве американцы нигилисты?

— Нет, но американцы проповедуют братство и справедливость.

— Да, но они не прибегают к бомбам. Отчего же вы меня хотите записать в число динамитчиков?

О, русская загадка за границей! Какая мучительная и как трудно разрешимая. Ведь вот если бы я американцам какие-нибудь самые невероятные небылицы рассказывал про Россию, поверили бы, а потому, что я говорил самое обыкновенное, это со стороны русского показалось необыкновенным. О какой хотите стране, самой дальней, на другом полушарии, о самой экзотической, о Таити, о Фиджи, понятия будут с большим приближением к истине, чем понятия о Европейской России. Конечно, много в этом повинна и сама Россия. Когда однажды на каком-то официальном банкете мой сосед, какой-то деятель по части воспитания, с которым мы довольно долго говорили, вдруг спросил меня: «И вы типичный русский?» — что мог я сказать? Я сказал: «Да, таких, которые думают, как я, много». Не мог же я ему рассказывать, что у нас не все обскуранты, черносотенцы (тогда, впрочем, слово еще не существовало, да и как бы его перевести на английский?). Но ничто меня так не огорчало, как удивление иностранцев.

Упомяну еще об интересном случае после одной из моих лекций. На этот раз — русские студенты, эмигранты. Подошли ко мне, их было двое, оба еврейского типа. «Ну, в России вы,

конечно, так бы не говорили». Лекция была о женском образовании. Я узнал на другой день, что они в этом же смысле говорили своим товарищам студентам, причем выставляли меня либо сочувствующим подпольной агитации, либо либеральствующим ради лишнего рукоплескания. На следующей лекции я заговорил об этих слухах и сказал, что считаю нужным отмежеваться от приписываемого мне сочувствия таким путям, с которыми не согласен. А что касается высказанного моими двумя соотечественниками предположения, что я в России так не говорил бы, то прошу позволения представить аудитории маленькую книжечку — это русский перевод моего доклада о женском образовании, сделанный в Петербурге по приказанию министерства народного просвещения. Эту книжечку позволял себе принести в дар университетской библиотеке. Это произвело очень неожиданное впечатление, выразившееся сильными знаками одобрения; но мои «соотечественники» стушевались.

Повторяю, «русская загадка» велика, темна и трудноразрешима, но повторяю и то, что корни этой загадки не в одной неосведомленности иностранной, а и в русской действительности. И если я всегда возмущался иностранными нелепицами, то это не значит, что я мирился с русской действительностью. Но возмущала меня неосведомленность критики, то, что не на то она направлена, на что бы следовало, и, наконец, возмущала меня односторонность иностранных представлений о России, и, может быть, больше всего возмущала предвзятость суждений. «Когда мы думаем об Америке, говорил я им, знаете ли, о чем мы думаем? О Линкольне, об Эмерсоне, о Лонгфелло, об Эдисоне. Что же, вы думаете, у нас нет равнозначащих имен? Почему же, когда вы думаете о России, вы думаете только о тюрьмах, о тайной полиции, о Сибири?»…

В таком духе я вел свои лекции и должен сказать, что на этой почве утвердились с моими аудиториями отношения доверия, которое росло в соответствии с длительностью курса.

Здесь подойду к одному вопросу, с которым столкнулся в Америке. Если, говоря о двух подошедших ко мне после лекции студентах, я упомянул о том, что они были из евреев, то я сделал это не в целях юдофобской шпильки, а только ради точности рассказа. Я никогда не был юдофобом, и даже теперь, после революции, убедившись собственными глазами в громадной роли, ими сыгранной, в том «засилии», которым они легли на нашу жизнь, и, наконец, в той ответственности, которая на них ложится за огромную долю происходящих в России жестокостей, я все же не могу стать на путь огульного обвинения. В Москве я знал много евреев, которые с пеной у рта говорили о

несправедливостях и злодеяниях, я знал таких, которые были разорены, как и мы. Когда я сидел в московской чрезвычайке и нас выпускали во двор погулять, помню, что четверть заключенных, конечно, были евреи. Из двух лучших, даже скажу — единственных двух моих настоящих учеников-последователей по курсу декламации один был еврей. Впрочем, я завел речь об этом не для того, чтобы говорить о моем отношении к евреям, а об отношении ко мне тех евреев, которых там в Америке встретил. Мои лекции производили на них какое-то притягательно-приручающее действие. В особенности почувствовал я эту волну еврейского доверия в Чикаго. Там в то время было очень много евреев-изгнанников из Москвы. Повезли меня раз посмотреть еврейскую школу. Помню, директор указал на маленькую девочку, которая только что поступила и по-английски почти не понимала. Я заговорил с ней по-русски. Не могу забыть волнения, которое потрясло это маленькое некрасивое существо. Ее голова все склонялась ниже, а пальчики теребили передничек. На мой вопрос о том, как ей нравится на новой родине, она ответила, что еще не может «привыкнуть». «А там хорошо было?» Голова все склонялась ниже, пальчики теребили чаще, а голос потухал; две крупные слезы упали на передник, когда она прошептала: «Там было хорошо». Директор положил ей руку на голову: «Ничего, ничего, привыкнешь». И обращаясь ко мне: «Мы сделаем из них хороших американских граждан». Я знаю, что я здесь прикасаюсь к великим мировым вопросам; не для того, чтобы их решить, говорю о них, а только чтобы сказать, как я с ними соприкоснулся…

После трехнедельного пребывания в Гарварде я выехал в Сан-Франциско, чтобы оттуда отправиться в кругосветное путешествие, а по дороге заезжал в университеты, куда Нортон дал мне письма. Еще были у меня письма от посла Североамериканских Штатов в Петербурге Уайта. Человек большого образования, он был первым президентом Корнеллского университета в штате Нью-Йорк и дал мне письмо к тогдашнему президенту его, профессору философии Шурману. Это был первый университет, который я посетил, распростившись с Гарвардом и милым Нортоном. Какая сказка этот Корнеллский университет. В горах, высоко над озером, над маленьким городом Итакой, стоят гранитные дворцы; один дворец — аудитории, другой — библиотека, третий — гимнастический зал, четвертый — общежитие и т. д. Над библиотекой возвышается башня с остроконечной крышей из желтой черепицы; «соломенная шляпа» Корнеллского университета видна издали.

Однажды после лекции в Корнеллском университете подошел

ко мне молодой человек и представился — русский, Алексей Васильевич Бабин; сын елатомского мещанина, попал в Америку, занимается историей. Во второй мой приезд он уже был библиотекарем университета в штате Индиана. После этого он был одним из библиотекарей библиотеки при здании Конгресса. В малое время достиг высокого положения и большого уважения. Но в конце концов ему стало скучно, захотелось отдать свои силы и знания на служение родине. Уже во время войны приехал он в Петербург; привез и издал первую на русском языке историю Соединенных Штатов в двух томах и стал искать должности. Через моего друга Петра Петровича Извольского я направил его к министру народного просвещения графу Игнатьеву. После этого получил от него два письма: одно из Олонецкой губернии — он был инспектором народных училищ; другое из Саратова — он был профессором истории в недавно открывшемся Саратовском университете. Вот при каких обстоятельствах я с ним виделся в последний раз. В то время я занят был приготовлением к изданию архива моего деда-декабриста. Сидел у меня по этим делам заведующий книгоиздательством «Огни» Евгений Александрович Ляцкий; рассказывал, что он затевает издание хрестоматии для народа; жаловался, как трудно найти людей для такого дела: или люди образованные, тогда они народа не знают, или люди от народа, тогда они необразованны. Только за полчаса перед тем ушел от меня Бабин; он в тот же вечер уезжал из Петербурга; адреса его я не знал. Как быть? Телефонирую Извольскому:

— Был у тебя Бабин?

— Сейчас у меня сидит.

— Он будет у Игнатьева?

— Да, Игнатьев ему назначил в час.

— Скажи ему, чтобы после Игнатьева пришел в ресторан Европейской гостиницы, — очень нужно, очень важно.

Я пригласил Ляцкого завтракать и там познакомил его с Бабиным. Они остались вполне довольны друг другом. Что из этого вышло, не знаю, но в последнем письме Бабин писал, что книга для народа пишется, выходит хорошо. Больше не слышал об этом милом человеке. Нашел ли он возможность применить прекрасные данные своей чистой русской природы и крепкий дух, которым зажегся в Америке, нашел ли возможным применить их на пользу родине, выказавшей так мало потребности воспользоваться тем и другим…

Возвращаюсь к американским университетам. Я их объехал довольно много. Вот где я читал: Колумбийский университет в Нью-Йорке, Корнеллский университет в Итаке, Гарвардский университет в Кембридже, Аннаба в Буффало, Высшая школа

художеств в Сент-Луисе, Чикагский университет, Калифорнийский в Сан-Франциско и университет имени Лиланда Станфорда в Пало-Альто, в Калифорнии. Поразительно впечатление, производимое этими учреждениями. Простор, роскошь строительного материала, приспособленность к требованиям научного труда, гигиеничность — все это делает из них какие-то оазисы тишины, света, покоя и беззаботности. Только тот, кто испытал сутолоку американской жизни, трамвайные и телефонные звонки, стукотню пишущих машин, свистки подземных, надземных и воздушных поездов, грохот улицы и крики газетчиков, сигнальные вспыхивания и потухания электрических реклам, кто испытал эту неотступность, с которой уличная жизнь Америки преследует ваш слух и ваше зрение, — только тот оценит условия покоя, в которые эта страна ставит тружеников науки. Университеты американские — это оазисы мысли; в бурном море жизни это острова покоя. В этом покое зреет наука. Конечно, не все в равной мере работают на умственной ниве. Профессора работают больше студентов; студенты очень увлечены клубной жизнью и спортом. Но те из них, которые готовят себя для науки, — упорные работники и с сильно обостренной специализацией. Я спросил одного естественника, в чем его специальность. «Последние три месяца, — отвечал он, — я был занят изучением желудочных паразитов белого муравья»… Три места в особенности запомнились мне как «оазисы». Первое — Корнелл, о котором уже упоминал. Другое — женский институт Wellesley College в окрестностях Бостона. Он расположен в рощах вокруг озера. Это, конечно, в числе самых радостных моих впечатлений на жизненном пути. Я думаю, что, какое бы счастье ни ожидало некоторых из этих девушек в будущем, самое счастливое в их жизни будет все-таки пребывание в этом удивительном Wellesley College. Какое восхитительное зрелище этих молодых девушек в радостном сочетании природы и науки. И всюду: в рощах, над озером, в высоких коридорах — раздается в звонких, свежих голосах клич Wellesley. Каждый университет в Америке имеет свой клич, им он приветствует, высказывает свое одобрение. Гарвард издает три гортанных звука на «А» и потом выкрикивает фамилию чествуемого. Корнелл на одной ноте зовет: «Корнел-ел-ел, Ел-ел-ел, Ел-ел-ел» и — фамилия. У Wellesley очень красивый, музыкальный клич. Выписываю его в нотах:

Можете себе представить, как красиво это звучит в молодых женских голосах под сводами коридоров, в холмистых рощах, над звонкой гладью озера… Упомяну красивую подробность. На

большой лестнице главного здания висит портрет. Это основатель, на свои деньги построивший институт. Он пожелал, чтобы его имя никогда не было записано, никогда не произносилось…

Удостоиться клича считается большой честью. Помню особенно дорогой моему сердцу случай. Когда выезжаешь из Корнелла, приходится менять поезд на следующей станции. Я сидел в зале; вышел на платформу. Стояла в сторонке группа молодых людей. Когда я прошел мимо них, раздалось: «Корнел-ел-ел, Ел-ел-ел, — Russia!» Очень было мне тогда приятно это приветствие на маленьком, безвестном полустанке, на другом полушарии земли…

Третье удивительное место — это университет Лиланда Станфорда в Пало-Альто, в Калифорнии. У богача Станфорда умер единственный сын Лиланд, и он построил в его память университет. В Калифорнии, часах в двух от Сан-Франциско, на высоком берегу моря, окруженные фантастической калифорнийской растительностью, стоят здания, построенные в характере старинных испанских монастырей, из дикого камня, с колоннами, с бесконечными галереями, портиками. Странно в такой обстановке видеть велосипед. Я говорил им, что на месте основателя университета я бы поставил условием, чтобы профессора и студенты носили монашескую рясу какого-нибудь несуществующего ордена.

Из Сан-Франциско я выехал в кругосветное плавание. О некоторых своих впечатлениях расскажу в одной из следующих глав.

Я уже упоминал о том, что был в Америке два раза. Второе путешествие так произошло. Весной 1895 года, в Сицилии, я получил письмо от некоего Лоуэля, директора Лоуэльского института в Бостоне, с приглашением прочитать курс лекций по русской истории и русской литературе. Прежде чем ответить, я запросил согласие моего отца. Ответ отца получил уже во Флоренции, по пути домой. Как сейчас помню: сидел я у приятеля моего Плачи и писал Лоуэлю ответ с согласием. Помню, Плачи, читавший газету, вдруг оторвался от чтения и сказал: «Это подпись». Он услышал по звуку пера, что я кончал письмо. Так подписал я свое обязательство в феврале 1896 года прочитать курс в восемь лекций в бостонском Лоуэльском институте. В деревне, в Павловке, за лето написал свои лекции на английском языке и в январе выехал. Первая лекция была назначена на 5 февраля.

Лоуэльский институт основан в 1839 году. Это не есть учебное заведение; завещатель Лоуэль даже пожелал, чтобы он не

имел своей собственной залы. Это есть учреждение, устраивающее публичные лекции. Лектора приглашаются со всей Земли, но никогда ни один лектор не приглашался более одного раза. Лоуэльская кафедра одна из самых популярных в Америке, и кто там читал, уже не нуждается в рекомендации. Аудитория приятная, умная, хотя холодная; бостонская аудитория в Америке считается самая трудная. Эта сдержанность в особенности поражает по сравнению с вулканическими проявлениями аудитории студенческой. Еще до отъезда из России я разослал свою программу во все знакомые университеты. По приезде нашел ряд приглашений. Пробыл я три месяца, в течение которых переезжал из города в город. Были таких две недели, когда у меня на той же неделе было две лекции в Нью-Йорке и две в Вашингтоне; это как от Петербурга до Москвы; я ехал ночью, днем читал. А как удобно путешествие в Америке! Ночью пульмановский спальный вагон, а днем — длинный вагон, сплошь с обеих сторон зеркальные окна и перед окнами вертящиеся кресла; можете повернуться так, чтобы разговаривать с правым соседом, или с левым, или с вашим визави, сидящим на другой стороне, или, наконец, повернуться к окну и смотреть на мимо бегущий пейзаж. Чудная уборная; тут же вам негр-провожатый чистит платье и сапоги. А перед приездом у вас спрашивают, где вы остановились, в какой гостинице или по какому иному адресу, и выдают вам квитанцию. Вы выходите на платформу с зонтиком и перчатками в руках, идете по своим делам; когда приходите в гостиницу, ваш ручной багаж и всякий другой уже вас дожидается…

Лекции свои я издал по-английски в Бостоне. Вернувшись в Россию, издал их по-русски; в том же году они были переведены на немецкий некой госпожой Гиппиус. На каждом языке они выдержали по два издания. После моего отъезда в Гарвардском университете основана кафедра славянских наречий в апреле 1896 года. По поводу издания моих лекций припоминаю следующее. Я обратился к известному чикагскому издателю Мак-Клергу, которого знал лично. Он предложил мне условия очень неважные. Я сказал, что подумаю. Бостонский издатель предложил мне много лучшие; я сошелся с бостонским. Когда уведомил об этом Мак-Клерга, этот человек, с которым я встречался, обедал в знакомых домах, не постеснялся написать мне, что он жалеет, ибо его предложение было «a tentative one», то есть как бы сказать — пробный шар…

В американском характере есть, несомненно, некоторая внешняя сухость. Под влиянием той безжалостности, о которой говорил, вырабатывается некоторая закаленность, хорошая,

конечно, в качестве противодействия внешнему злу. Но несомненно, что с другой стороны эта в привычку обратившаяся сухость иногда стесняет внешнее проявление внутренних порывов или придает им робость, неуклюжесть: люди боятся, давая свободный выход своему чувству, преступить против предписаний мужественности. Но броня, нужная в жизненной борьбе, смешна, когда она не снимается в мирное, безопасное время. Вот почему во всем, где хочет проявиться чувство, ощущается некоторая стесненность и в психологической сущности жизни есть какая-то плоскодонность, отсутствие далеких или глубоких перспектив. Помню, раз в одном доме обедал. Были ко мне исключительно внимательны; я видел, что всячески хотели угодить. После обеда попросили сыграть на фортепиано; конечно, попросили чего-нибудь русского. Вдруг хозяйка просит русский гимн. Я, впрочем, знал, что попросят, — без этого никогда не обходится. Но тут хозяин пожелал выказать особливое сердечное внимание. «Погодите», — сказал он. И на цыпочках подошел к камину, снял с камина какой-то предмет, так же лукаво, на цыпочках подошел ко мне и со словами: «Вот, теперь вы будете себя чувствовать совсем дома» — поставил передо мной на пюпитр образ Божьей Матери от Хлебникова или Овчинникова. Я исполнил их желанье, сыграл им русский гимн. Так осуществил я за фортепиано — «православие, самодержавие и народность»…

Не знаю, насколько мне удалось передать — не американскую жизнь, конечно (в этих беглых строках это было бы невозможно), но мои впечатления американской жизни. Для меня ясно обрисовывается такая картина. Огромная масса, работающая — все без исключения, и бедный и богатый. Над этой массой выкинутая на поверхность пена денежной аристократии — легковесная, игрушечная, пустая в своих интересах. Среди этого моря житейского, волнуемого материальными и политическо-партийными заботами, среди этой охоты за наживой, среди этого никогда не ослабляющегося напряжения, рабочего, торгового, денежного, как огражденные от мира острова — университеты. Повторяю, я не рисую американскую жизнь, я рисую то, что я от американской жизни видел и как то, что я видел, во мне отпечатлелось.

Удивительная страна! При одной мысли жить в Америке содрогаюсь, а между тем преисполнен восхищения. Содрогаюсь, потому что ни в какой другой стране (кроме одной, о которой не место говорить в «Странствиях»), ни в одной стране не испытал такого оскорбительного прикосновения внешней жизни к духовным святыням. Нигде не испытал такого отсутствия идеала, такого торжества материалистичности; нигде не ощутил таких

мыслительных пустынь, такого голода по искусству. На одном незначительном примере я испытал, до каких уродливых форм может дойти извращенность эстетического принципа. На улицах продают маленькие бюсты Вашингтона, Линкольна и других народных героев. Эти бюсты сделаны из мятой бумаги, что называется папье-маше; но не из простой бумаги, а из вышедших из употребления кредитных билетов.

И бюсты стоят не одинаково, а смотря по тому, какие билеты пошли на его поделку. Можно ли придумать что-либо более ужасное в смысле безвкусия и более скверного в смысле направления художественной пытливости. Все бюсты одинаково уродливы, но глаз американского обывателя с завистливым восхищением останавливается на том, который стоит дороже…

Да, в этой стране свободы испытываешь минуты удушья. Покойный Нортон это хорошо чувствовал. В то время вышла книга Бурже «Итальянские ощущения». Он говорил мне: «А вот вы напишите „Cheques d'Amerique“ (Американские оскорбления). Помню, когда я ему читал ту лекцию моего курса, где говорю о западниках и славянофилах, об отношении исторической критики к реформам Петра, вообще о путях русского самосознания, он воскликнул: „Поражает меня, какая у вас в России сумма мыслительной работы“. Этот возглас был показателен для Америки. Задыхается в этой атмосфере человек, если не притуплена его чувствительность. Но огромное большинство этого не замечает. Известен анекдот о чикагском жителе, который попадает на тот свет и, расхаживая и предовольно озираясь, восклицает: „Как хорошо; совершенно как дома на небе“. „Вы ошибаетесь, — говорят ему, — вы не на небе, вы в аду“… Мне всегда казалось верхом блаженства закрыть глаза в Чикаго и открыть их в Венеции, и тем не менее образ этого чикагского гражданина, который в аду думает, что он в раю, очень показателен для одной черты американского характера: для его безграничного оптимизма. Американец искренно убежден, что он живет в лучшем из миров и что лучшая страна в лучшем из миров — Американские Соединенные Штаты. Самокритика не в его характере, и если проявляется она в литературе, если бывают у них сатирики-писатели, они не производят впечатления, что они порождение американской почвы. Сатира, критика — это пессимизм; американец прежде всего оптимист. Пессимизм ему скучен, критик для него чужой. Вот почему такой выдающийся человек, как Нортон, хотя имел многочисленных и верных друзей, был не популярен. Критик — брюзга; американец — свистун.

И несмотря на все это, несмотря на весь прозаический ужас этого стука, и звона, и грохота, этих днем вертящихся, а ночью

мигающих торговых реклам, несмотря на то, что Диккенс сказал: „Миссия Америки в том, чтобы вульгаризировать вселенную“, несмотря на то, что после Америки я видел красочную радугу Востока, такие сказки человечества, как Индия, Цейлон, Каир, — когда я вернулся домой, ярче всего передо мной стояли американские воспоминания: свистки, колеса, грохот, гуденье и — спешка, вечная спешка, отсутствие праздности, отсутствие отдыха, движение вперед, безжалостное отсутствие оглядки. Сказки поблекли перед рекламными афишами. Сказка — прошлое, реклама — будущее. Америка — окно в будущее; но страшно глядеть в это окно: художник содрогнется, философ покачает головой…

Среди человеческой сутолоки, заливающей эту землю, явилась естественная мысль — оградить кусок земли от посягательства человека, предохранить хотя кусок природы от натиска цивилизации. И вот, подобно тому как в других странах из остатков цивилизации делают музеи, так в Соединенных Штатах додумались кусок природы превратить в музей. В так называемых Желтых горах, за Соленым озером, за территорией Мормонов, отгородили огромную площадь земли и превратили ее в Национальный парк. Скалы, горы, долины, леса, реки — все предписанием закона неприкосновенно. Выбрали удивительный кусок земли. Там окаменелые леса, там остеклившиеся скалы, там бьют гейзеры, и горячие ключи от них стекают горячим водопадом в холодные бурливые реки; по белой меловой равнине течет бирюзового цвета ручей, а дно его уложено красно-коралловыми отложеньями. В реках не ловят рыбу, в лесах не стреляют ни зверя, ни птицу, и когда дерево падает через дорогу, только выпиливают ту часть его, которая мешает проезду… Чтобы объехать „парк“, надо шесть дней. Очень удобно устроено: большие открытые шарабаны перевозят путешественников; утром выезжают из одной гостиницы, к вечеру приезжают в другую; на полпути стоянка — ресторан для завтрака… Это, конечно, одно из красивейших впечатлений, какие мне пришлось испытать. И как свежа, как молода стародавняя мать-природа среди преждевременного старчества молодой цивилизации…

Все вечное молодо. Моложе, вечнее всего на земле человеческая природа, то внутреннее, чем она живет. Почему вдруг вспоминаю такой пустяк? Около одной из гостиниц Национального парка был источник, около него скамейка. Сел на скамейку; около скамейки в траве, смотрю, лежит письмо. Поднял, стал читать. Какая грустная страница, какая скорбная повесть изнывающей, обманутой любви. Девушка пишет возлюбленному, что она ничего о нем не знает, что он забыл ее.

Как не ново это, и как это не старо. Сколько страдания под этим отсутствием упрека, сколько покорности, какое нежелание связывать его и какая любовь к собственным цепям. И потом, уже сквозь сухие слезы — какие трогательные житейские подробности, в надежде, что они его заинтересуют. Болтовня о том о сем. „Тебе бы надо было здесь быть, посмотрел бы, как Дженни держала экзамен, как получала награды. Это было абсолютно величественно“. Да очень ему интересна Дженни и книги, которые она получила, золотые часы, которые ей подарила мать… Письмо лежало, брошенное в траву, и вечерняя роса уже смочила бумагу своими слезами. „Это старая история, но остается она вечно новой“.

Почему вдруг вспомнил об этом? И почему свои впечатления об Америке, для описания которой нужны цифры, кончаю этой картинкой разбитого сердца и его осколков, оброненных у этого ручья?.. Почему?

ГЛАВА 6
Конгресс религий в Чикаго

(Опубликовано в журнале «Вестник Европы», март 1895)

В сентябре 1893 года на берегу Мичиганского озера происходило единственное в своем роде зрелище. Представители всевозможных религий, съехавшись со всех концов Земли, собрались в одно общее заседание. Соблюдая видимость полной равноправности, встречались и обменивались мыслями представители христианского духовенства, духовные сановники иноверных религий, мирские представители науки. Поборники самого узкого сектантства не только приобщились духом к своим христианским единоверцам, но из своей замкнутости вышли на простор общечеловеческого общения с последователями нехристианских религий; сыны далекого Востока превозмогли свое закоренелое недоверие к религии завоевательного Запада и под сень Креста принесли свои стародавние учения о внутреннем совершенствовании. В течение семнадцати дней разноречивые «глаголы», сливаясь в братском единомыслии, провозглашали желательность сближения, необходимость забвения человеческого разномыслия, обязательность уважения ко всему тому, в чем проявляется духовное единообразие человеческой природы.

Среди разномыслия, в наши дни неустанно подчеркивающего разъединяющие начала человеческой жизни, громкое провозглашение объединяющих начал звучало великим протестом природы против всякого насильственного дробления. Каково бы ни было ближайшее влияние, каковы бы ни были дальнейшие последствия, каково бы ни было разногласие в оценке, — событие само по себе представляется нам достаточно знаменательным, чтобы уделить ему некоторое внимание. Не знаем, много ли появилось о нем в русской печати[1]; мы желали бы лишь поделиться личными впечатлениями. Не смеем предложить какую-нибудь сравнительную оценку вероучений и мировоззрений; не можем также дать свод тому, что было там говорено и прочтено, — труд непосильный, если принять во внимание, что отчеты заседаний составили два тома в полторы тысячи страниц убористой печати. Принимаясь говорить о таком, по нашему мнению, знаменательном событии, как религиозный конгресс, мы просим читателя иметь в виду, что единственное преимущество, какое может признать за собой пишущий эти

строки, состоит в том, что при всем этом он был очевидцем. Если нам удастся воскресить наши воспоминания и впечатления настолько, чтобы заставить читателя проникнуться тем духом человеческого сближения, который царил там в течение семнадцати дней; если нам удастся вызвать в нем те же чувства терпимости и уважения к чужой совести, какими дышало собрание; если, наконец, нам удастся дать ему хотя слабое понятие о том подъеме духа, который в течение почти трех недель, во время самой ярой выставочной сутолоки, в самый разгар коммерческого брожения и в самом центре американского материализма, три раза в день собирал пятитысячную толпу на заседания конгресса, — мы почтем себя вознагражденными за нашу попытку.

I

В том месте, где Adams Street, одна из самых бойких улиц коммерческого квартала в Чикаго, выходит на Мичиганский проспект, среди большого, еще не застроенного луга, между пароходной пристанью с одной стороны и летним цирком с другой, — отрезанное от голубого озера черным полотном железной дороги, высится мраморное здание художественного музея. В этом здании, которое холодным спокойствием своего античного фасада так разительно выделяется на кипучем фоне американской суеты, от мая до октября происходили заседания всемирных конгрессов по всем отраслям человеческого знания. В течение почти шести месяцев, ежедневно, за исключением воскресных дней, многочисленные залы музея были полны народа, и иногда в двадцати залах одновременно происходили чтения, сообщения, заседания. Для самых больших, общих собраний к задней стороне здания, той, которая обращена к озеру, была сделана деревянная пристройка с двумя огромными помещениями, более чем на пять тысяч человек каждое. В одном из этих деревянных амфитеатров на высоких подмостках собрались и восседали члены «Парламента Религий».

Внешний вид помещения поражал простотой, а многих принципиальных противников конгресса религий прямо возмущал. «Да и на что это похоже — подобное собрание делать в дощатом балагане: голые стены, флаги». Так обыкновенно говорилось после того, как все возражения по существу были исчерпаны, и в заключение прибавлялось: «В старину такие предметы обсуждались в церквах».

— Да ведь вы же сами говорили, что это не собор.

— Конечно, нет. С буддистами, евреями, магометанами — конечно, не собор.

— Так зачем же вы к этому собранию предъявляете одинаковые требования благолепия?

Трудно столковаться с некоторыми людьми. Когда какое-нибудь явление их неприятно поражает новизною своей, они ставят ему в укор пренебрежение старыми формами; а попробуйте это самое явление обставить их же любимыми формами — они завопят о поругании святыни. Впрочем, надо сказать, что только те, кто вообще порицал идею религиозного конгресса, возмущались этой внешней стороной; другие не обращали на нее внимания. Были некоторые неудобства, вроде близости пароходного свистка, грохота железнодорожных поездов и вообще того ужасного шума, которым живет американская улица и который от времени до времени суетной, назойливой волной врывался в залу заседаний. Но легко ли нам, приехавшим туда на несколько недель, осуждать устроителей и находить, что они могли бы выбрать лучшее место. Конгрессы готовились чуть не за четыре года, и, конечно, все, что могло быть сделано, было сделано: земля в Чикаго так дорога, поместительных зал в домах так мало, а в центре города шум до того нестерпим, что это пустопорожнее место за стеной великолепного просторного музея, стоящего на обширном лугу, являлось настоящей находкой. Был проект перенести конгрессы в одно из зданий выставки, но против этого высказались почти все члены комитета с председателем Боннэ во главе. Им неприятно было открывать двери заседаний той случайной толпе, которая, слоняясь по выставке из одного здания в другое, нигде не останавливалась, а всюду только «заходила»; по крайней мере в настоящем помещении собирались только те, которые действительно интересовались вопросами. И, как мы видели, отдаленность музея от всех выставочных развлечений не имела влияния на численность слушателей: зала всегда была полна, а бывали случаи, когда большой Колумбовский зал оказывался мал; тогда излишек публики собирался в соседнем Вашингтоновском, и докладчик, прочитав свой доклад в одном зале, переходил в другой и тут повторял его. В последний день религиозного конгресса оба амфитеатра были битком набиты, так что, читая свои заключительные приветствия, члены конгресса прощались в два приема с десятью тысячами человек.

Огромная каменная лестница музея, как паперть греческого храма, всегда кишела народом. Тут раздавались программы, объявления, продавались газеты; уличная жизнь беспрепятственно поднималась к портику и проникала даже в

просторную прихожую, где толпились любопытные вокруг столов, за которыми продавались книги, брошюры, фотографии членов конгресса, значки и ленточки для пропуска в залу заседаний. Эти значки (badge) были, конечно, пустой формальностью, — кто хотел, мог за ничтожную плату украсить петлицу медной пуговкой или атласной лентой с серебряной бахромой, но эта формальность — одна из тех мелочей американской жизни, которые у них вырастают до размеров чего-то значительного, без чего нельзя обойтись. Американец, в силу законов своей страны лишенный всяких внешних знаков отличия, не имеющий у себя на родине ни титулов, перед которыми мог бы преклоняться, ни чинов, которым мог бы позавидовать, восполняет этот пробел чем только возможно и со свойственной ему наивной серьезностью, как ребенок, играющий в солдатики, украшает свою грудь значками обществ, клубов, комитетов, а если к этому нет повода, то хотя бы маленьким американским флагом. Выставка и конгрессы породили своего рода «капитул орденов»; на выставке была целая витрина с «баджами»; многие составляли из них коллекции. Но «бадж» не давал пропуска за дверь большой приемной залы влево от прихожей, где собирались члены конгресса до открытия заседаний.

Кто, хоть раз побывавший там, не помнит этой залы? Налево при входе маленькая дверь частного кабинета г. Боннэ. Ласковое лицо почтенного председателя — странная смесь ассирийского царя с библейским патриархом — навсегда останется для всякого центром, вокруг которого слагаются воспоминания этого интересного времени. Внимание и обходительность, с которыми ок принимал имевших до него дело, до такой степени проникали в собеседника, что заражали самых неприветливых людей. Когда подумаешь, что этот человек, в течение двух лет изнурявшийся над подготовительными работами к 160 конгрессам, которые ему пришлось открывать, ежедневно от мая до конца октября проводил часов пять, шесть в этой маленькой комнате, где принимал всякого, кто в нем нуждался; что все доклады проходили через его руки и это не мешало ему помнить наизусть заглавия и кто какой доклад представил; когда подумаешь, что его с утра на части рвали просители, члены конгрессов, репортеры и т. д., то обходительность и любезность его становятся поистине подвигом. Не помню, чтобы хоть раз увидав меня сквозь полураскрытую дверь своего кабинета, он не вышел в залу и, осведомившись, не нужно ли чего, не предложил зайти к себе «ну хоть посидеть отдохнуть». Эти личные качества его много способствовали установлению добрых отношений между членами конгресса, заранее обезоруживая враждебные

поползновения разнородных элементов. Выходя из его кабинета, всякий чувствовал себя добрее, и непременно всякому хотелось тут же кому-нибудь отплатить за ту ласку, которую он только что испытал на себе.

Большая приемная зала никогда не пуста. За длинными столами пишут, читают, готовят новые доклады, знакомятся, разговаривают, обмениваются карточками, адресами. Здесь американцы и американки осаждают иностранных гостей: кто просит написать что-нибудь в альбом, кто просит фотографии, кто преподносит книжку, передает приглашенье, кто просит постоять перед кодаком. За решеткой — канцелярия, где, окруженные кипами брошюр, неустанно работают мистер Йонг, главный секретарь, и масса помощников и помощниц. Еще дальше, все в той же зале, новый ряд столов — это царство репортеров. Здесь три главных чикагских газеты — «Herald», «Tribune» и «Interocean» — устроили временные конторы. Сотрудники, репортеры, корреспонденты осаждают делегатов, выпрашивают себе экземпляры докладов, а то просят высказать мнение о конгрессе, о женском вопросе, о последнем торговом трактате, и тут же за спиной стенограф заносит ответы и готовит для завтрашнего номера «интервью». Знакомство скоро устанавливается на началах взаимопомощи, и через несколько дней вся батарея газетных «тайпрайтеров» (печатных машинок) к услугам докладчиков: в воздухе стоит трескотня от неугомонных клавишей, и тихий говор диктующих голосов только иногда прерывается звонками и выкриками телефонных разговоров. Как удивительно пишут американские машинистки под диктовку: так же быстро идут их пальцы, как ваша мысль; случалось мне, пока диктую, передумать: скажешь — «виноват», а уже это слово попало в текст…

11 сентября утром приемная зала представляла совсем необыкновенное зрелище: в 10 часов было назначено открытие первого заседания Всемирного конгресса религий, и все съехавшиеся к этому дню представители собрались здесь в ожидании той минуты, когда председатель пригласит их выстроиться и тронуться для следования в большую залу заседаний. Вряд ли кому когда-нибудь удавалось видеть собрание, подобное этому. Нужна легкость сообщений, какою отличается наше время; нужна американская предприимчивость, убежденность в важности затеянного дела, которою горели устроители, дерзнувшие кликнуть клич, несмотря на сильное противодействие со стороны многих; нужно то уменье задеть человеческую душу в самых жизненных ее стремлениях, которое заставило представителей недвижного Востока пуститься в

далекое плавание и высадиться на почве Нового Света; нужна, наконец, и сама та американская почва, над которой, несмотря на ужасающую рутинность привычек, веет дух, поощряющий свободное развитие личности, та американская почва, которая раскрывает свои недра для всякого нового зерна и которая для каждой идеи найдет в себе и подаст живительный сок. Нужна подобная совокупность условий, чтобы собрать под одной кровлей и посадить на одних подмостках таких людей, как те, что в это утро собрались в большой приемной. Никогда ни на одной картине вы не видели таких сопоставлений, таких сближений…

Вот в красной мантии кардинал Гиббоне — первый кардинал из американцев; с ним разговаривает высокий, закутанный в белые креповые плащи сингалиец с острова Цейлона: резкие черты смуглого лица и длинные, черными кольцами, волосы напоминают древнегерманскую живопись: подумаешь, какой-нибудь тропический Альбрехт Дюрер. Это представитель цейлонских буддистов, секретарь общества Мага-Бгоди, пламенный, любвеобильный и, как его прозвали, «Нежный Дгармапала». Вот сидит в клобуке и черной рясе, с панагией и крестами на груди, статный, живописный архиепископ острова Занте, преосвященный Дионисий Латас, а за его креслом стоит сопровождающий его диакон. К нему подходит, в оранжевом кафтане, с желтой чалмой, великолепная фигура бронзового индуса, с гордой осанкой восточного магараджи: это нищенствующий монах одной из многочисленных индусских сект, рослый, плечистый, с детской наивностью в горящих глазах. Он ходит и осматривается, как большой ребенок, всему радуется, ничему не удивляется; красноречивый, неиссякаемый, как горный поток, с восточной яркостью в примерах и каким-то былинным причитанием в незатейливых речах. Суоми Вивикананда — это его имя — сделался одним из любимцев конгресса.

Вот дальше сошлись и разговаривают несколько японцев в темного цвета халатах с чем-то вроде омофоров из яркого пестрого атласа; между ними буддист Кинза-Риудж-Гирак, произведший сильное впечатление своей речью о том недоверии, какое внушает народам Востока разлад между началами христианского учения и действиями христиан на Востоке. Несколько человек между ними с совершенно наголо выбритыми головами: это шинтоистские жрецы, привезшие свое сосредоточенное, невозмутимое спокойствие и витиеватое братское приветствие «с берегов царства восходящего солнца и вишневых рощ».

Множество представителей католического и протестантского духовенства. Между первыми, в фиолетовой мантии, с тонким,

умным лицом, епископ Кин, ректор католического университета в Вашингтоне, один из лучших ораторов Америки. Его проницательные глаза приветливо смотрят из-за золотых очков, а на губах играет и силится не проступать наружу легкая улыбка недоверия. Он был одним из деятельных участников конгресса, но тем не менее за этими золотыми очками как будто всегда читалось: «Все это очень хорошо, но без этого было бы лучше». Епископ Давенпортский Айерланд считается самым сильным церковным оратором в Соединенных Штатах. Действительно, он потрясает и увлекает толпу. Но он, как многие церковные ораторы в той стране, поражает не только силою своего церковного убеждения, а также напряженностью своего патриотизма. Эти два течения у них всегда идут вместе, и иногда патриотическая нота так сильна, что становится неприятна своей чрезмерностью; если шовинизм всегда неприятен, то тем более в качестве спутника вопросов веры. Слиянность эта получила там, в Америке, свою формулу: «Библия в одной руке и Конституция Соединенных Штатов в другой». Это, конечно, прекрасно в начальной школе, но мне казалось неуместным на Всемирном конгрессе религий. Да, и в тех странах, где кваса нет, все же есть «квасной патриотизм»; носят котелки и цилиндры, а все же хотят «шапками закидать». И американцы не слепы в этом отношении; их самокритика сурова, и они даже выдумали слово «джингоизм», которое гораздо сильнее и беспощаднее, чем «шовинизм».

Среди многочисленных представителей протестантских толков — лютеран, пресбитерианцев, методистов, баптистов и т. д. — выделяется коренастая, плотная фигура Арнета, епископа африканской методической церкви, из негров; это один из самых замечательных ораторов, каких мне довелось слышать. Пылкий, говорящий всегда под впечатлением минуты, как подвернется ему слово, как скажется, он производит впечатление импровизатора, он не способен держаться программы. Даже когда лежит перед ним писаный текст, он обыкновенно оставляет его «до другого раза» и продолжает о чем-нибудь совершенно ином. Особенный юмор, свойственный его расе, проникает его речь и часто заставляет неудержимо смеяться, а горячий, пламенный дух всеобъемлющего, всепокрывающего уважения к хорошим сторонам человеческой природы, без различия племен, народностей, сословий, религий, подымал пятитысячную толпу и сквозь смех и слезы заставлял ее сливаться в неистовом выражении восторга. Не помню, чтобы когда-либо на моих глазах оратор бывал предметом такой бури кликов и рукоплесканий, — явление тем более знаменательное, что в Соединенных Штатах, несмотря на великий акт освобождения негров из рабства, против

них существует сильное общественное предубеждение. Между ними есть выдающиеся люди, но их как-то не видать, с ними не знакомы, а обыкновенный неф, которого встречаешь на улице и в домах, — это класс прислуги: «мой неф» значит — «мой лакей». На конфессе ярко обозначилось, что «неф» значит «человек».

А вот еще один из «наших восточных друзей». Одетый по-европейски, в сюртуке, только с бархатной индусской ермолкой, скромный, тихий, но обаятельный по духовной высоте, какая сквозила в каждом его слове. Это Нагака, представитель браминской секты брамо-сомаев из Бомбея.

Очень между всеми выделяется еще один человек — маленький, приземистый, лет под пятьдесят, в длинном сюртуке, с офомной всклокоченной головой, с взъерошенной бородой. Это Дженкин Джонс, пастор-унитарианец, секретарь подготовительного комитета, одна из самых типических фигур конфесса. Он врезался в память всякому, кто хоть раз его видел; его зоркие, жгучие глаза из-под густых нависших бровей проникали вам в душу; его мягкость и нежность навсегда расположили вас к нему; его голос, убежденный, убедительный, долго звенит в ваших ушах, а речь его, — если только когда-нибудь его простая, суровая речь коснулась вас, — она, как необузданная лава, затопила ваше сердце. Словно какой-то ураган любви вечно подымал этого сына природы, этого пахаря с Библией в руках.

В то утро, впрочем, характеристики разных представителей еще мало обозначаются; происходят пока знакомства, представления, приветствия. Стоит говор на всевозможных языках, и это разноречие, притекшее со всех концов Земли и сливающееся в один оживленный гул, для того чтобы сговориться и столковаться по важнейшим вопросам человеческого сожительства, невольно представляется каким-то столпотворением вавилонским в обратную сторону — не для рассеяния, а для воссоединения «языков».

В числе гостей несколько дам. Красивая госпожа Потер Пальмер, председательница женского отдела Всемирных конгрессов, в лиловом платье, разговаривает с кардиналом в ожидании того, когда он подаст ей руку, чтобы открыть шествие.

Две старые дамы особенно резко выделяются. Одна, маленькая скромная старушка с серебристыми локонами, висящими из-под шляпы, — это госпожа Бичер-Хукер, сестра Бичер-Стоу, автора «Хижины дяди Тома». Другая — высокая, стройная, с гордой осанкой, с великолепным профилем серьезного лица. Ее прямой, светлый взор из-за золотых очков всегда смотрит выше толпы. Она лучший оратор из женщин в

Америке, председательница бесчисленного количества обществ. Это — Сюзан Антони, неутомимая поборница женского голосования и женского представительства в парламенте.

Женское участие в конгрессах было весьма значительно. При конгрессе религий состояло 16 комитетов с 174 членами из женщин. Характерную и чисто американскую особенность составляют женщины-пасторы. Приблизительно с половины столетия некоторые протестантские конгрегации, одни с большими, другие с меньшими ограничениями, открыли женщинам доступ к церковной кафедре, и теперь женщина-пастор пользуется полным правом гражданства. Как ни странно сначала казалось нам видеть, как такая «рукоположенная» дама призывала благословение Божие на присутствующих, но не могу не помянуть с чувством глубокого уважения тех из них, с которыми пришлось впоследствии познакомиться лично. Одною из выдающихся представительниц своей касты по уму и красноречию была мисс Ида Хольтин, пастор унитарианской церкви в Молине, маленьком городке на реке Миссисипи…

Общая картина этой залы кажется чем-то таким новым, таким удивительным, что не находит себе сравнения, не приурочивается ни к чему уже известному. Нужен новый Веронез, чтобы изобразить эту пеструю толпу, разгуливающую и разговаривающую в высоких хоромах, среди снимков с древних греческих и римских изваяний.

До десяти остается лишь несколько минут. Из кабинета господина Боннэ выходит доктор Барроус, пастор пресвитерианской церкви, председатель открывающегося конгресса, тот, кому принадлежала первая мысль о его созвании. Его шекспировская голова озирает пестрых гостей; на высоком лбу видно торжество и беспокойство. Он просит присутствующих выстроиться попарно, и через пять минут шествие трогается. Гости вытягиваются длинной вереницей; конец шествия еще в прихожей, еще огибает мраморную статую «Потерянной Плеяды», произведение скульптора Роджерса, когда из залы долетает далекий шум рукоплесканий, приветствующих кардинала, архиепископа и всех, кто во главе процессии уже вступает на подмостки. Гости усаживаются на своих именных местах; президент Боннэ среди все еще не умолкающих рукоплесканий подходит к кафедре. Мгновенно все утихает, и при глубоком молчании падает сухой удар председательского молотка: «Объявляю первый Всемирный конгресс религий открытым».

Мы не будем следить шаг за шагом за тем, что происходило на этих подмостках в течение семнадцати дней. Мы видели, какова была внешняя обстановка, познакомились с наиболее

выдающимися лицами, — мы видели рамку и картину. Оставим теперь наши зрительные впечатления и постараемся собрать и связать воедино обильные и поучительные впечатления нравственного порядка: из совокупности их и тех соображений, которые ими вызываются, выступит и внутренний смысл конгресса.

II

Если бы нас попросили двумя словами очертить как главные начала, животворившие деятельность этого собрания, так и главные начала, им провозглашенные, мы бы сказали: единение и единство. Единение — как присущее каждому человеку стремление, сила, энергия; единство — как присущее всему человечеству неотъемлемое свойство.

Единение — как путь к достижению человечеством цели его общей жизни; единство — как уже достигнутая часть той цели, к которой оно стремится. Единение — как двигательный инстинкт, понуждающий идти к чему-то неосуществившемуся; единство — как природное ручательство, что оно не может не осуществиться. Единение — как способ жизни; единство — как аксиома жизни. С точки зрения первого из этих двух начал конгресс должен представиться нам как попытка, усилие; на почве второго встанет вопрос о пользе и последствиях его. Постараемся сказанное нами проследить на фактах.

В течение всей недели, предшествовавшей только что описанному торжественному открытию Всемирного конгресса религий, в разных залах музея происходили заседания частных религиозных конгрессов. Кому привелось побывать в этих заседаниях, где собирались отдельные представители многочисленных и разнообразных церквей и вероучений, тому не могла не броситься в глаза одна особенность. Заходил он в католический конгресс — в пламенных речах, дышавших любовью и забвением человеческих разностей, присутствующие призывались любить своих ближних во имя своей церкви. Заходил он в лютеранский конгресс — вдохновленные любовью и всепрощением проповедники именем лютеранской церкви убеждали паству любить своих ближних, пренебрегая человеческими разностями. Заходил он в другие, более частные конгрессы, более дробных подразделений, всюду слышал он то же самое: всюду те же высокие слова, вдохновленные теми же высокими чувствами, провозглашали те же самые высокие начала. Ни разу никто из говоривших не забыл, что, принадлежа к своей

церкви, он не перестает принадлежать человечеству; что личные его верования, причисляющие его к той или другой церкви, не обособляют его от общечеловеческого братства и что его церковь есть не более как исходная точка, центр для постоянного, беспредельного расширения души, основание, на котором он становится для общего служения единому делу.

Вот что не могло не броситься в глаза всякому, кто в течение этой первой недели посещал отдельные заседания малых конгрессов. И в конце недели всякий должен был спросить себя: почему же все эти люди, говорящие одним языком, говорят в разных комнатах, почему не сойдутся вместе, не сольют свои разрозненные голоса? Если они проповедуют одинаковые начала во взаимоотношениях людей, то почему же они не провозглашают их во имя той единой правды, которая их всех животворит? Зачем они останавливаются на подразделении, вместо того чтобы восходить к целому? Зачем от своего частного, раздельного, единичного они не перейдут на почву общего, неделимого, единого? Тот сближающий инстинкт, о котором мы говорили, не мог не проснуться в каждом из присутствующих; то стремление к единению, которое живет в каждом человеке, должно было разгореться под влиянием виденного и слышанного; это было неминуемо; оно до такой степени носилось в воздухе, что нам иногда казалось, что если бы не были созваны представители со всех концов Земли, то и без этого все эти частные конгрессы стянулись бы в один и сам собой, прямо силою вещей, состоялся бы общий религиозный конгресс.

Но 11 сентября единение сказалось в таких размерах, которые превысили всякие предположения. Участие иноверцев в конгрессе и главным образом та равноправность, в которую благодаря полной свободе слова они были поставлены рядом с христианами, смущали многих. Еще задолго до открытия конгресса одна мысль об этом внушала недоверие. Известно, что епископ Кентерберийский наотрез отказал в участии англиканской церкви в подобном собрании. Заслуживает внимания главный из его доводов: представители христианства не должны сидеть рядом с иноверными представителями. Тут, говорит он, дело не в том, которая религия выше или которой дать первенство, а христианство не может быть рассматриваемо наравне с другими религиями — христианство не есть одна из религий, а единственная религия. Совершенно не касаясь абсолютной высоты той или другой религии, мы только хотели бы спросить епископа англиканской церкви: во имя чего он запретит каждому иноверцу сказать о своей религии то же самое? Если бы он черпал доводы к своему порицанию в предписаниях

той религии, которую он исповедует, тогда, ясное дело, он был бы прав и все участвовавшие в конгрессе христиане оказались бы погрешившими против христианства. Но он этого не делает, он не ищет возражений в существе христианства (да и вряд ли бы он нашел их на страницах той книги, которая повествует о милосердном самарянине), а он основывается исключительно на своей вере в безусловное первенство исповедуемой им религии и при этом забывает, что на этой почве всякий иноверец имеет с ним равные права. Опять-таки, не касаясь абсолютного значения той или другой религии, можно спросить: разве магометанин не точно так же убежден в безусловном первенстве исповедуемой им веры? Индус точно так же может сказать, что браманизм есть единственная религия, и в глазах буддиста христианство есть лишь одна из религий.

Мнение епископа Кентерберийского разделяли многие и в Соединенных Штатах. Очень резко высказался Кливеленд Кокс, католический епископ западной Нью-Йоркской епархии. Он сильно осуждал устроителей конгресса, пригласивших язычников присутствовать в собрании, из которого они о христианстве ничего не узнают, а только воочию убедятся в разделении христианской семьи. «Вы только вселите в них уверенность, что христианство, пригласив их, отказывается от всяких притязаний на божественное откровенье». Странно в устах епископа такое недоверие к своим единоверцам. Почему же он думает, что христиане окажутся слабее иноверцев; почему он убежден, что буддист, например, в полученном им приглашении усмотрит, так сказать, капитуляцию христианства, когда христианин не усмотрел никакой уступки со стороны буддиста в том факте, что он принял приглашение? Нам приходилось слышать много возражений, но ни одно не коренилось в предписаниях христианского учения; они все были общего характера; опасения, которыми они внушены, и доводы, на которые опирались, одинаково имели бы значение и на почве иноверных религий. Затем, относительно возражений со стороны представителей католичества, надо и то сказать, что участвовавшие в конгрессе епископы-католики и сам кардинал Гиббоне ведь сделали это не без благословения папы. Почему же находятся такие, которые «больше роялисты, чем король»? Лев XIII отнесся к американской попытке как к затее: «Такие вещи возможны только в Америке». (Было сказано княгине Марии Аполлинариевне Барятинской, когда она была на аудиенции.)

Но в его скептицизме было благодушие, и, конечно, он не осуждал тех епископов, которым разрешил.

Были и другого рода возражения, направленные не на

большую или меньшую благопристойность созыва подобного собрания, а на нежелательность могущих произойти последствий. Ставилось на вид, что подобное сопоставление вероучений должно иметь следствием некоторое общее колебание веры, как бы нивелировку религиозного чувства. Впрочем, сами факты доказали неосновательность таких опасений. Достаточно познакомиться с докладами делегатов по возвращении каждого на родину, чтобы удостовериться, что они оставили конгресс с полной уверенностью в торжестве каждый своего вероучения. Но со стороны христиан подобные опасения прямо непонятны. Ведь чем глубже человек убежден в божественности своей религии, тем менее, казалось бы, следует ему бояться сравнений, сопоставлений и вообще всякой гласности. Кому же, как не христианам, должно быть известно, что «свет во тьме светит и тьме не объять его»[2]? Можно спорить о целесообразности подобного собрания, но нельзя его осуждать, а раз оно состоялось, нельзя закрывать глаза на то влияние, которое оно имело, и на уроки, которые оно дало как иноверцам, так и христианам.

Развернувшаяся перед нами в то памятное утро картина, поучительная своим видом, была не менее знаменательна по своему смыслу. Никогда внутренние разделения нашей христианской семьи не выступали так ярко, так наглядно, и редко приходилось христианам так совеститься того недоверия друг к другу, которое закралось в их взаимные отношения вследствие религиозных усобиц. В этом случае американская почва представляет, может быть, еще более благоприятное поле, чем могла бы явить какая-нибудь другая страна. Вряд ли существует где-нибудь столько религиозных подразделений, как в Соединенных Штатах. До каких пределов доходит это дробление, можно видеть из того, что одних протестантских сект или, как они там называются, церквей — 136. Понятно, что при такой численности не может быть много существенных разниц, а между тем различные «деноминации» настойчиво разграничиваются, их придерживаются очень строго, и они глубоко вселяют в сознание людей убеждение в том, что они отличны друг от друга. Принадлежащий к «Протестантской церкви Соединенных Штатов» считает, что он нечто отличное от того, кто принадлежит к «Протестантской церкви Американских Соединенных Штатов». Странно, что то самое, что при возникновении своем является результатом широкой свободы вероисповедания, в дальнейшем практическом развитии приводит к узкой тирании сектантства. Ведь свобода совести не заключается в том, что мы за каждым признаем право веровать, как он может (этого, кажется, и

признавать нечего, ибо тут чужое приказание или запрещение одинаково бессильны); а свобода совести заключается в том, что, как бы ни веровал человек, мы его считаем таким же человеком, как и мы, и не понижаем его нравственного ценза соответственно степени различия его верований с нашими и не позволяем тому мнению, которое мы имеем о его веровании, становиться непроходимой стеной между его внутренней природой и нашей. Тогда, конечно, все личные колебания и различия в верованиях каждого отдельного человека хоронятся на дне души, становятся чем-то неприкосновенным. Там же, в Америке, наоборот. Все сейчас выходит наружу, тотчас кристаллизуется, складывается и, если не может пристать ни к чему уже существующему, становится зародышем новой конгрегации, основанием для новой «церкви». Различие со старой «церковью», той, от которой человек отделяется, самое незначительное, незаметное, но оно обострилось на каком-нибудь жгучем в данную минуту вопросе — и вот принцип разъединения еще раз торжествует, и почва возможного сближения опять уходит из-под ног. Члены одной семьи принадлежат к различным конгрегациям; в школах не может быть общего преподавания Закона Божия, потому что пришлось бы держать на каждый класс чуть не столько законоучителей, сколько учеников.

Удивительно, что люди могут учиться вместе, работать вместе, вместе играть и во всем чувствовать себя товарищами, а как только дело доходит до веры в Бога, того Бога, который повелевает всякого признавать своим ближним, так в них вселяется убеждение, что они отличны друг от друга и, собственно, не могут быть товарищами. И вот товарищество между людьми и чувство человеческого братства являются уже не следствием предписания религии, а как бы в виде уступки необходимости, какою-то контрабандой под страхом обвинения в отступничестве; братство является элементом позитивизма в религиозной метафизичности.

Мы сказали, что Америка представляет исключительную почву для наблюдения подобного рода явлений. Мы не хотели этим сказать, что они нигде в других местах не существуют; только в Америке благодаря дробности делений и скученности их особенно как-то бросается в глаза то, что при более крупных масштабах ускользает от внимания. Но, глядя на все эти мелкие деления, невольно переносишься мыслями к более крупным, и все думается: что бы людям хотя бы на одном сойтись — что они живут не для того, чтобы ходить в ту или иную церковь, а что в церковь они ходят для того, чтобы научиться жить. Ведь движение человечества не из жизни в церковь, а через церковь в жизнь. Если

бы только почаще думали о том, что встречаться с ближним приходится в жизни, а не в церкви, как незначителен показался бы нам (конечно, не с точки зрения личной, а с точки зрения человеческого общежительства) вопрос — из какой церкви он вышел для того, чтобы встретиться с нами в этой самой жизни, и каким бы оскорблением звучало для нас самих, если бы на каждом шагу нас спрашивали: из какой церкви ты вступаешь в жизнь? Не будем мы приставать к ближнему с этим вопросом: ведь он для нас не важен; он важен для него, но не для нас, Нет, «руки прочь» от чужой совести — это единственное средство успешного единения; ибо каждый раз, как мы спрашиваем ближнего, к какой он церкви принадлежит, мы поднимаем стену между его совестью и нашей. Перегородок между людьми и так уж много, а тут мы еще воздвигаем их на той самой почве, на которую становимся во имя любви к Богу и из которой черпаем предписания любви к ближнему[3].

Вот почему нельзя было не радоваться всякой попытке сблизить людей, несмотря на существование перегородок; ибо, по выражению одного из армянских представителей в конгрессе, «религиозные разности, как ледяные стены, встают между людьми, но и, как ледяные же стены, они должны растаять под лучами любви». А любовь может жить во всяком сердце и согревать всякую душу, без различия племени, народности, сословия, религии. Подумайте, как низко должны были пасть преграды, разделяющие какого-нибудь методиста от пресбитерианца, когда они увидели рядом на одной платформе православного архиепископа с индусским монахом, католического епископа с китайским последователем Конфуция. Эти люди могли бы не говорить — они были достаточно красноречивы своим совместным бытием; нам не случалось никогда видеть более яркого и простого изображения идеи в лицах. Словами Цицерона можно было о них сказать: «Тем, что они молчат, они кричат». Это было молчаливое, но громкое провозглашение единения, того начала единения, живущего в человеке, которое никакие теории не способны затоптать, никакие разделения не способны пресечь, того единения, которое прорвет покровы человеческих разностей, перешагнет через перегородки, делящие человеческую семью, рассеет недоверие, поддерживаемое ценою искажения истины, очистит человеческую совесть от ржавчины предубеждения, освободит душу от гнета духовной косности и, разогнав страх пред установившимся обычаем, откроет простор человеческой любви…

III

Таким представляется конгресс религий, если взглянем на него как на усилие, на результат известных стремлений. Нашему вниманию подлежали те побуждения человеческого духа, которые подвигнули людей собраться, следовательно, обусловили осуществление конгресса; перед нами выступили те силы, действие которых предшествовало собранию, так сказать, входящие силы конгресса. Посмотрим теперь, какая же его исходящая сила.

Мы сказали, что все эти люди различных племен, народностей, религий могли бы даже не говорить — так они были красноречивы одним своим появлением. Но они не остались молча сидеть; и вот из разнообразия их речей, вызванных духом единения, стало обрисовываться присущее человечеству единство. Очевидно, что если один и тот же призыв мог оказаться достаточно сильным, чтобы поднять каждого из них в отдельности ради общего интереса, то и в природе каждого из них должна быть одна общая почва, в которой этот интерес коренится. Элементы единства, таким образом, представляются с двух сторон. С одной стороны — присущая людской природе одинаковость, от которой, несмотря ни на какие личные, общественные, политические, религиозные обособления и уклонения, ни один человек не может уйти, пока живет на земле. С другой стороны — единство как действующая в людях мыслительная сила, работающая над выделением из личного миросозерцания и проведением в жизнь таких правил человеческого общежительства, которые, несмотря на различия общественных, политических, религиозных законодательств, обеспечивают людям равноправие перед единым законом нравственным. В первом случае единство представляется как нечто данное, фундамент, на котором человечество живет; это то единство, которое нашло себе выражение в библейском указании на происхождение рода человеческого от Адама и Евы. Во втором случае единство — не как данное, а как предписание, не как фундамент, а само здание, которое нашло себе выражение в евангельской притче о милосердном самарянине.

Вот те формулы, на которые мы можем расчленить понятие человеческого единства. В яркой обрисовке их, в провозглашении их с характером очевидности и обязательности заключается то, что мы назвали исходящей силою конгресса. Если мы из всего разнообразия произнесенных там речей выделим общее, одинаковое, перед нами неотразимо встанет принцип человеческого единства как истина, лежащая в основе их всех, как центр, в котором сливались все проповеднические усилия говоривших.

Но здесь надо заметить, что главная убедительная сила конгресса заключается не столько в том, что эти истины провозглашались собранием, сколько в том, что они как бы сами собой выделялись, исходили от него, даже как будто помимо стараний участников, независимо от текста речей, ибо с текстом той или другой речи можно было соглашаться или не соглашаться; те же соображения, которые мы привели выше, — очевидность человеческого единства и обязательность проистекающих отсюда предписаний в отношениях людей друг к другу, — прямо логически вставали перед сознанием всякого, без различия философской подготовки, даже умственного развития. Урок был тем сильнее, чем более был чужд преднамеренности. Ведь эти люди не сговаривались заранее, не готовили себе общей почвы; каждый говорил от себя и за себя, и совокупность впечатлений не являлась совокупностью усилий, напротив, разрозненность усилий привела к разоблачению единого общего начала человеческой природы и поставила людей лицом к лицу с теми сторонами их души, которые у них одинаковы, помимо той страны, где они выросли, тех звуков, в которых вылился их язык, тех рамок, в которые уложились их общественный и государственный строй, наконец, тех верований, в которых слились их понятия — истинные или ложные — о Творце вселенной и об отношениях к нему человека.

Японская пословица говорит: «Много тропинок ведет на гору, но, когда взберешься на вершину, все та же самая луна видна». Другой заслуги конгресса нечего искать: степень заслуги того или другого урока измеряется степенью потребности в нем; а вряд ли есть урок, в котором люди нуждаются больше, чем в уроке человеческого единства. Все развитие современного человека, весь строй современной жизни как бы направлены к тому, чтобы заставить забыть принцип единства. И вряд ли когда это забвение проявлялось с такой беззастенчивой, почти забавной наглядностью, как в первых заседаниях конгресса.

Никогда не забуду удивленных лиц в публике, когда впервые заговорили представители Востока. Люди в невиданных одеяниях, с бронзовым цветом лица, выходцы из сказочных стран, провозглашают начала взаимного уважения, проповедуют правила нравственности, понятия добра и зла, которые мы всегда считали своей исключительной собственностью; и их речь, красивая, картинная, увлекательная, придает какую-то совсем новую прелесть этим старым истинам. Только удивлялись слушатели не этой новизне, а всему тому знакомому, что эта новизна изобличала. Казалось, естественно было бы предположить, что присутствующие, скорее, заинтересуются

разностями этих отдельных представителей, — нет, открытие сходственных сторон было так неожиданно, шло до такой степени вразрез с обычными нашими понятиями о «ближнем» нашем, раз он иначе говорит и молится, чем мы, что все это на первых порах вызвало недоумение. Поразительно в людях незнание и забвение основных черт человеческой природы. Но еще более поразительно то, что, когда мы наталкиваемся на живые примеры, подтверждающие принцип человеческого единства, когда мы встречаем иноверца или иностранца, являющего те же самые свойства души, какие мы привыкли уважать в наших единоверцах и единоплеменниках, мы не только раскрываем удивленные глаза, но вместо того, чтобы устыдиться нашего незнания, нашей узости, наших предубеждений, мы в порыве какой-то умиленной снисходительности даруем ближнему наше одобрение, мы радуемся как открытию тому, что он на нас похож, тогда как нам бы следовало скорбеть о том, что мы забыли, что сами похожи на него и этим забвением уже в известной степени утратили права на сходство.

Да не только «наши восточные друзья» возбуждали недоумение. Однажды мне пришлось прочитать доклад, в котором я остановился на тех вопросах, о которых говорил выше. И вот по окончании доклада подходит ко мне американка и с выражением неописанного удивления говорит, что она никак не ожидала услышать такие речи от русского.

— Почему же не ожидали?

— Потому что я всегда считала, что это американские идеи.

— Американские! Ведь они так же мало американские, как и русские…

Однако следует ли все эти знаки удивления принимать как характерные признаки только американского народа? Не то ли самое чувство говорит в тех немцах, которые утверждают, что лишь по ошибке Провидения колыбель Шекспира стоит не на Рейне. Не то же ли самое чувство водило рукой знаменитого французского ученого, который начинает научный трактат словами: «Химия — французская наука»? Не то ли самое чувство, не та ли самая слепая вера в абсолютную правду, если можно так выразиться, в «единственность» своей национальной идеи воодушевляет тех наших соотечественников, которые в стремлении пригибать вселенские истины к частным потребностям объясняют, что под плодородной почвой в притче о сеятеле надо разуметь землю русскую?[4] Не это ли чувство проникло в сознание и заразило самую мыслительную способность тех писателей, которые в наши дни говорят о национальном христианстве и не видят внутреннего

противоречия подобного сочетания слов, не понимают, что сказать «национально-христианский» — это все равно что сказать «временно-вечный» или «местно-всемирный».

Конечно, личные мнения и убеждения того или другого человека составляют его неприкосновенную собственность и как сила, определяющая его внутренний рост, никого не касаются. Но, к сожалению, они определяют не одно его личное развитие, а и отношения его к другим людям; и здесь известные убеждения становятся не только логически ошибочными, но и этически жестокими. Такими ошибочными явились перед конгрессом убеждения, воодушевлявшие тех нескольких ораторов, которые огласили это собрание мира и любви словами нетерпимости и злобы. Их было немного (и, к стыду нашему, эти немногие были из христиан), но воспоминание о них болезненно врезалось в сознание присутствовавших. Часто удивлялся я, как это христианские слова, христианские тексты могут быть приводимы для того, чтобы возбуждать нехристианские чувства. Все хотелось им сказать, что если, по их мнению, они не погрешают против христианства, то, во всяком случае, они погрешают против гостеприимства; а гостеприимство хотя и малая добродетель, все же добродетель, и пренебрегать ею не следует: это узкие врата, но ведущие на широкую дорогу; а без духовного гостеприимства прямо немыслимо никакое общежительство, никакое движение по пути развития. Это ясно сказалось на конгрессе, и единичные случаи злобного увлечения не могли изменить общего духа уважения, которое оживляло слова говоривших. Помню, как один английский проповедник в одном из заседаний произнес речь, в которой разразился неудержимым негодованием против всех, кто не исповедует христианства; необузданность его дошла до того, что, воспользовавшись случайным отсутствием в этот день индусских представителей, он и их самих стал поднимать на смех и всех их единомышленников стал осыпать самыми грязными обвинениями, бросая огульную тень на всякого индуса, отказывая ему в понятиях чести и нравственности. В неловком недоумении слушала толпа; прорвалось несколько рукоплесканий: во всякой толпе есть либо злорадствующие, либо способные бессмысленно зажечься чужим жаром. Но когда он кончил, тяжелая туча как будто повисла над собранием, и председатель Барроус с трудом скрывал досаду, что не остановил говорившего с первых слов.

На другое утро газеты были полны рассказами о случившемся. Огромная толпа хлынула в залу, когда раскрылись тяжелые двери. Молча ждали начала заседания. К кафедре подошел представитель индусской секты брамо-сомаев Нагака, о котором мы упоминали выше. Все глаза обратились на него, на

этого обаятельного человека, которого все успели полюбить за его духовную высоту, и в этом общем взоре уже читались и скорбь, и сокрушение, и назревшая готовность покаяться в нанесенном человеку оскорблении. В нескольких кратких словах выставил он неверность тех посылок, на которых английский оратор построил свои обвинения, и затем только прибавил: «Что же касается тех, кто обвиняют нас, не изучив ни нашего закона, ни нашей жизни, то мы с ними не вступаем в спор, только молим Бога, чтобы Он простил их, ибо они не знают, что творят».

Не берусь описать взрыва, который эти слова вызвали в толпе, удрученной воспоминанием предыдущего вечера и благодарной за дарованное облегчение. Английский проповедник (кстати, на это заседание не явившийся) может быть признателен индусу за восстановление в смущенных им сердцах той христианской любви, которую он поколебал. Люди поняли, что даже на почве самых жгучих вопросов убежденность в правоте собственных верований не исключает возможности и даже обязанности уважать чужую веру.

Говоря «уважать чужую веру», считаю нужным сделать оговорку. Слово «вера» у нас имеет два значения. Первое — вера как итог верований, система, религия, например, вера христианская, магометанская, языческая и т. д. Второе — вера как сила, двигатель, та вера, про которую говорят: горячая, слабая, твердая. В первом случае слово «вера» обозначает нечто раздельное, во втором — нечто объединяющее, как способное проникать всякое деление. Когда мы говорим, что человек должен уважать чужую веру, мы, конечно, разумеем второе значение этого слова: странно и требовать, чтобы человек уважал все религии как свою, но следует требовать, чтобы люди ценили друг в друге ту степень веры, которая их одухотворяет и подвигает на то или другое доброе дело. Можно оплакивать, что эта вера направлена не на тот предмет, который нам кажется единственным заслуживающим веры, но нельзя не уважать веру как материал духовной жизни; а материал этот разлит во всем человечестве, и те язычники, которые восприняли христианство, были им одарены.

Уважение к тому духовно одинаковому, что есть в бесконечном разнообразии человеческой природы, — вот, кажется нам, в чем практический смысл урока, преподанного конгрессом. Мы все полагаем в основание наших отношений к людям принцип человеческого различия. Политические и сословные деления, на которые распадается человеческая семья, построены на несходственных сторонах человеческой природы, и когда мы встречаем нового человека, мы прежде всего заняты мыслью: к

какому из этих делений он принадлежит? И за этим ярлыком, подчеркивающим лишь те стороны, которыми его деление отличается от нашего, мы уже не видим, а часто и не хотим видеть все то одинаковое, что налагает на нас общее наименование — «человек». Мы совсем забываем, что этот ближний наш, живущий по своему закону, может иметь нравственную цену и перед нашим собственным законом; и вместо того чтобы ценить его за его личные внутренние качества, мы делаем его ответственным за массовые качества той группы, к которой он принадлежит, и поворачиваемся к нему спиной. А насколько выше, благороднее все те движения души нашей, которые возникают на почве человеческого сходства, сравнительно с теми, которые возбуждаются несходственными сторонами нашей природы.

Сколько веков тому назад человек спросил человека: «Может ли быть что хорошего из Галилеи?» Кажется, урок был достаточно красноречив; и тем не менее люди не переставали с тех пор повторять этого вопроса; и с течением веков «Галилеи» только множились. Галилея религиозная, сословная, сектантская распространяет недоверие, которое как яд просачивается во взаимоотношения людей. Само по себе предосудительно поддаваться наущениям этого недоверия, но еще хуже того воспитывать чувство недоверия и провозглашать начала несходства во имя того Бога, про которого апостол сказал, что он не лицеприятен, но что в каждом народе поступающий по справедливости угоден ему. (Деяния св. Апостола, X, 34, 35.)

В заключение скажем несколько слов о результатах или, вернее, о том, в каком смысле это слово «результат» вообще приложимо к конгрессу религий.

Никогда я не мог понять, чего, собственно, ожидали те люди, которые обвиняли конгресс в безрезультатности. Ожидали ли они нового символа веры, обнародования новых догматов, каких-нибудь постановлений?.. Как бы в ответ на эти запросы появилась масса лекций, докладов, отчетов, составленных в большинстве случаев участниками конгресса. Мне пришлось познакомиться со многими из этих брошюр, и почти во всех поражает какое-то бессильное стремление во что бы то ни стало представить результаты конгресса в осязательных фактах: такой-то, мол, приглашен говорить в такой-то церкви, такой-то написал такую-то книгу, там-то состоялось такое-то собрание и т. д. И это стремление кажется нам чем-то весьма малым в сравнении с величием самого события. Нам решительно кажется, что проходят мимо главного те, кто ищут фактических результатов вне самого осуществления этого собрания.

Никогда никто не оспаривал полезности и желательности конгрессов научных, хотя вряд ли кто отыщет им более практическое оправдание, чем способствовать простому обмену мысли и живому общению людей при помощи живого слова. Почему же, когда такое же собрание происходит на почве не научных, а религиозных вопросов, мысль о том вызывает недоверие, негодование, а требования к нему тотчас предъявляются совершенно иные? Результаты, наверное, есть, не может не быть их, ибо ни один урок не пропадет даром; но опять повторяем: главную силу конгресса следует искать в самом факте его осуществления. Вот почему в наших заметках мы остановились исключительно на внутреннем его значении. По нашему убеждению, конгресс важен как событие и как знамение времени. Как событие важно опять не то, что конгресс делал, а то, что он состоялся; как знамение времени важно не то, что он был созван, а то, что он мог состояться.

В истории развития человеческого сознания конгресс религий в Чикаго займет место наряду с теми событиями, которые служат показателями умственных и нравственных течений мировой жизни; он явится собирательной единицей, в которой разрозненные пути человеческой жизни совокупно заявили о себе и разоблачили однородные начала своих нравственных стремлений; он представит равнодействующую тех нравственных сил, которым повинуется человечество в разных концах земли; он провозгласит пред лицом будущих поколений, что эта равнодействующая не есть нечто насильственное, выдуманное, а что она живет в самом естестве человеческом и, таким образом, является одною из сил, ведущих мир по путям божественного Провидения. Здесь же кроется и значение конгресса с точки зрения христианской. Он доказал — тем, кто в этом сомневался, — что вовсе не отрекается от христианства тот, кто раздвигает границы человеческой любви, а что, напротив, погрешает против своей же веры тот, кто, начиная молитву словами «Отче наш», разумеет под словом «наш» какое-нибудь замкнутое деление, к которому он сам принадлежит.

История сохранила и передала нам в ореоле славы имя фанатика монаха, который своими огненными речами ополчал христианский мир против мусульманского. Во сколько раз выше, чище, умилительнее встает перед нами образ того скромного греческого священника из Дамаска, который на свои скудные средства предпринял путешествие из далеких библейских стран в Чикаго для того, чтобы сказать: «Мой отец был убит мусульманами, мой брат был убит мусульманами, и тем не менее я положил весь труд моей жизни на то, чтобы дать им новый

перевод Священного писания на арабский язык».

Это сопоставление, отмечающее два полюса в понимании христианских обязанностей, обрисовывает всю эволюцию христианской идеи в человеческом сознании.

Июль 1894

ГЛАВА 7
Острова

Есть остров на том океане

Острова всегда имели для меня некое таинственное притяженье. Отдельные миры. Это планеты на Земле. Окруженные, с трудом доступные, неслиянные, они сохраняют обособленность своих людей, как обособленность своих растений. Остров живет сосредоточенно. Остров всматривается, остров вслушивается, остров ждет. Остров знает, как никто другой на Земле, что значит встреча, — из дальней точки растущая громада; он знает, что значат проводы, долгие, мучительные, когда уходит целый мир и на небосклоне в точке пропадает. Остров изведал болезненную обиду слова «мимо», жгучее чередование надежды и отчаяния; он испытал горячий крик сигнального призыва и холодное молчанье глухого безразличия. Остров умеет радоваться, но не избалован, ему ничто не надоело, разве только сам себе. Он наивен, он легко удивляется, и лазурь окружающих вод отражается в его глазах. Он радуется, но под радостью таится грусть, как будто в жизни его больше прощаний, чем встреч. Омываемый водами, остров больше любит море, нежели сушу, он питается морем, суша его баловство; море — его жизнь, суша — его греза. Но он сам греза всего окружающего; никто, как он, не чувствует, что

> Как океан объемлет шар земной,
> Земная жизнь кругом объята снами.

Жизнь острова объята снами, и нужно длительное, упорное прикосновение суши, чтобы снять с него эту дымку сновидения. Увы! Она сходит, эта дымка. Прошли те времена, когда бесстрашная грудь европейских судов, рассекая волны далеких морей, проникала за неизведанные небосклоны и приставала к девственным берегам. Уже неизведанного нет на земле, и девственных нет берегов. Везде гавань, пристань, таможня, угольный склад…

Но воображение сильнее действительности, и всегда острова имели для меня некое таинственное притяжение.

Какое волнение, какой у всех в глазах прилив жизни, когда с палубы вдруг заметили землю. «Земля!»

Как может то же самое слово, при одинаковом значении, иметь столь разный смысл. Когда мы на суше говорим «земля»

или когда на палубе кто-нибудь крикнет: «Земля!»…

«Земля», которую я увидел, был остров Мадера. Я провел там два месяца в 1888 году у больного моего брата Григория. Маленький город Фунчал рассыпался домами и садами по скату гор до берега морского. Белые дома выглядывают из-за пальм, лимонов и лавров, не мешая друг другу, все через крыши глядят на синее море. Огромный собор, полосатый, бело-черный, венчает город куполом своим. Высоко над городом двумя белыми своими колокольнями из темной хвойной зелени глядит «церковь на горе», «l'eglise du mont». Когда приезжаете на Мадеру, еще осмотреться не успели, а вас уже спрашивают: «Estce que vous avez deja ete au mont?» (Были вы уже на горе?) Это гордость местных жителей. Еще фраза, которую повторяют вам много раз: когда спрашиваете, как пройти туда-то или туда-то, неизменно всякое объяснение начинается с вопроса: «Vous connaissez le dome?» (Вы знаете собор?) Собор — это та «печка», от которой идут все адреса.

О, какой маленький город, какой заброшенный, далекий, и какие маленькие интересы… Больные, везде больные, все для больных; на солнечных верандах лежат прикрытые и всматриваются в далекий морской небосклон. Воздух мягкий, влажный и знойный — как в теплице. Вон показался корабль вдали: часа через четыре будет почта… Брат лежит на плетеной кушетке, а за ним на спинке прикорчилась обезьянка, ручная, но лукавая, даже жестокая: в прошлый раз прискакала через всю веранду, приплясывая и волоча за собой зелено-желтого попугайчика, которому свернула шею… Тихо. На Мадере всегда тихо: во всем городе один только колесный экипаж — шарабан английского пастора. А то вся езда на полозьях. По мостовой, убитой мелким-мелким камнем, запряженная волами, тащится повозка, поставленная на полозья; занавески защищают от солнца, и по горячему камню бесснежные сани визжат; погонщик забегает вперед и подбрасывает обсаленную кишку — полозья скользят легче, визг унимается…

Странный городок — ломоть Португалии, заброшенный в океан. Старые, звучные фамилии, двойные, тройные; маркизы, герцогини… Красиво звучит португальский язык, мягче испанского. Но тип не красивый, и скоро стареются. Они вспоминают поездку в Лиссабон, мечтают о Мадриде, грезят о Париже… Повышли замуж некоторые за англичан, богатых виноделов. Свои мужчины все выезжают; старые семьи все разорены, дома и виноградники в руках англичан. В самой лучшей, большой вилле Виджиа в тот год жила семья Ушковых, известный по Москве Константин Капитонович. Его жена,

урожденная Кузнецова, была очень больна грудью, и ради нее жила там многочисленная семья. Этот хлебосольный дом был очагом веселья для скучающих островитян: там обедали, ужинали, танцевали, устраивали живые картины, иллюминации. В особенности когда приходил военный корабль, тогда начиналось веселье. Барышни смотрели в подзорные трубы: если только не английский флаг, будет у Ушковых бал (англичан они не принимали). И вот офицеры выходили на берег, покидали бурное море, чтобы попасть в разливанное море московского гостеприимства. Два, три дня стоял дым коромыслом, и потом уходил корабль, и следили с острова за его исчезающим дымом…

Так жизнь мировая проходила мимо и только тангенсом касалась зеленого острова, запасалась углем и бананами и шла своим путем… Маленький город задумчив и пахнет укропом — «Фунчал» по-португальски значит «укроп». Он подсчитывает приезжающих и отъезжающих и отмечает умирающих. В нем нет местной жизни; чужая смерть создает его жизнь, и часто разговор походит на страницу поминальной книжки; это текст к старому альбому; известно, что старый альбом — это кладбище. Нет, в Фунчале нет своей жизни. Иногда бывают какие-то юбилейные дни португальской истории; тогда сжигаются фейерверки, но сжигаются не так, как во всем прочем мире, не ночью, а днем, не для глаз, а для ушей: ничего не видно, но стоит пальба, грохот, шип и треск — народонаселение ликует.

Один только раз покинул я прибрежную полосу, поднялся выше города; перевалив за первые горные хребты, я увидел середину того острова, на краю которого жил. Есть место там, в середине гор, которое зовется Rio frio (Холодный ручей). Какое звучное и в тамошней жаре какое красивое название. Мы поднимались по крутым скалам, внизу за нами море раздвигало горизонт. Сухо, и зелень хвойная, сухая; но под соснами зеленый мягкий мох и в нем, в числе цветов, ну как вы думаете, что? В диком виде красная, с лиловой махровой серединкой, крупная, крепкая фуксия. На самых жарких местах, где по краю дороги цепкие лианы цепляются за цепкие кусты, я видел под палящим солнцем и на знойном камне — дикий гелиотроп. Сухо, но вдоль гор из верхних расселин тянутся карнизы — парапеты, за которыми течет вода, стекающая в город:

> Ты к людям, ключ, спешишь в долину?
> Попробуй — каково у них!

По этим парапетам, свисающим над пропастью и которые тянутся верстами, мальчишки бегают с бесстрашною

неосторожностью.

Что больше запечатлевается в памяти как контраст?

После сухого зноя на южном склоне горячих скал вдруг влажная прохлада зеленых лощин. Мы входим в тень лавровых рощ; священный шелест встречает нас под таинственными шапками, и могучие стволы, прежде чем разветвиться в извивах, выносят за собою вверх сочную зелень, что сидит вокруг их корней, — они все облеплены зеленым трепетанием папоротника; нежная бородка опушает ствол до первых ветвей его. Нигде, ни даже на Цейлоне, не видал такой расточительности растительной силы. Мы дошли до самого высокого места, откуда видно море кругом, где уже не может быть сомнения, что мы на острове. И вспоминаю, как на острове Таити Пьер Лота сидел со своей маленькой туземкой на вершине горы; смотрели на огромный с высоты раскрывавшийся горизонт. И вдруг маленькая туземка спрашивает: «А чтобы увидеть твою землю, надо очень высоко взобраться?»…

Мы стояли на краю пропасти, перед нами из этой пропасти поднималась скала, на ней площадка. Заманчиво, но как страшно. Перескочить невозможно. Но между материком, на котором стоим, и заманчивой площадкой из бездны поднимается как бы каменный клык, вострый; в боку его, как бы сказать — в щеке, есть ямочка, приступочек; туда можно одну ногу поставить, в то время как другая заносится на площадку. Страшно было это исполнить, но еще страшнее было обратное движение. Туда — это было дело добровольного выбора, но назад — это была необходимость; там действовал принцип «можно», тут действовал принцип «надо». Заношу этот случай, потому что думаю, что это самое храброе, что я в жизни исполнил, поскольку храбрость совместима с бесполезностью… Обратный путь в город был много короче, то есть скорее, чем восхождение. Мы совершили большую часть пути скатившись по каменным дорожкам на салазках. В четверть часа из сосновых рощ, скользя по горным кручам, мы очутились у подножия соборной колокольни. «От собора» всякий знает дорогу домой. Мы с братом жили сперва в центре города, в гостинице Хортас, а потом перешли в новенькую гостиницу Кардуэль, на восточном конце города, на мысу, высоко над морем, — много света и воздуха.

Мой брат Григорий был очень болен, и его характер иногда был труден для окружающих. Он интересовался вопросами общественно-государственными, был конституционалистом. Однажды он ездил в Дармштадт, чтобы передать Николаю II записку о политических реформах для России. Помню, что в черновой его записке была фраза: «Государь, не готовьте для

Вашей супруги участь Марии Антуанетты». Он сказал: «Нет, не надо быть сентиментальным» — и зачеркнул… Записка была передана, и он получил на другой день письмо от адъютанта графа Гейдена, в котором тот по поручению государя уведомлял его об этом. Письмо кончалось фразой: «Теперь вы можете ехать». Об этом в свое время было в немецких газетах. Брат приезжал в Россию во время открытия Государственной думы, но ни с кем не сошелся, остался одинок; в нем уживались в беспокойном смешении буйное стремление к новизне и слащавое тяготение к старине. Он остался одинок. Он тоже был остров… Он умер в 1910 году в Ментоне, похоронен на тамошнем кладбище…

2 декабря 1893 года вышел из Сан-Франциско пароход компании «Белая Звезда», «Оцеаник», направляясь в Японию. Мы вышли в страшную бурю, длившуюся пять дней. На шестой нас приветствовала тропическая сияющая гладь. Так шли мы два дня, когда к вечеру подошли к острову Гаваи из группы Сандвичевых, когда-то открытых капитаном Куком. Мы высыпали на правый борт палубы и жадно вдыхали растительные запахи земли. В этот дальний уголок мы попали в тяжелую для него минуту. Там была революция. Дворец последней владычицы Сандвичевых островов, королевы Лилиуокалани, был занят повстанцами, в окнах были мешки с песком; жители волновались, но в общем «революция» была игрушечная. Королеву переселили «на дачу», иностранцы захватили власть и объявили, что Гавайская республика поступает под протекторат Соединенных Штатов. Но все это было не страшно, сияло море, пекло солнце, пальмы помавали своими маковками, гладко расстилались под пальмами длинные улицы, утопленные красной лавой, весело глядели из-за пальм домики с верандами, залитые ползучими цветами, и только на марках почтовых поперек толстой королевы Лилиуокалани в декольтированном платье красными буквами стояло — Republic. Оттого ли, что мы всего на несколько часов прикоснулись к этому острову, следовательно, не было времени проникнуть в интересы тамошней жизни, но никогда не представало мне с большей силой ничтожество людских страстей, как пред тамошней сияющей и торжествующей природой. Мы заходили в одну местную школу для туземцев. Американец-учитель любезно принимал, угощал и рассказывал о событиях местной политики. На столе лежала местная английская газета, и с удивлением на ее страницах я читал отчеты о моих докладах на воспитательном и религиозном конгрессах. Был с нами в числе пассажиров епископ острова Занте, преосвященный Латас, также ехавший из Америки на родину. Живописная фигура его, в рясе, с панагией, всех поражала. Он был милый, разговорчивый старик, очень

наслаждался путешествием, но прелести Тихого океана для него отравлялись неспокойствием, с каким он ждал возвращения в Грецию. Почему-то он опасался всесильного тогда в афинском министерстве Трикуписа; он думал, что ему, как говорится, «напреет» за участие в чикагском конгрессе. Часто на палубе он ко мне подходил, чтобы делиться опасениями, но потом наступало более оптимистичное настроение и он говорил: «Может быть, это все только испанские замки». Так он говорил, очевидно, желая сказать — «черные мысли». И надо думать, что так оно и было. Впоследствии из Афин я ему послал в Занте приветственную телеграмму; он в ответ благодарил, говорил, что его дела благополучны, и прибавлял: «Я часто смеюсь над мирными испанскими замками». После шести часов стоянки в Гаваи мы тронулись в дальнейший путь. Остров уходил и таял; редела полоса песку на берегу, редели окаймлявшие ее пальмы; еще блестели там и сям, как куски зеркала в перистой зелени сахарного тростника, каналы, полные водой; редели очертания лиловых гор; все уходило, пропадало, и наконец Гаваи потонули в сиянии неба и воды… Мы держали путь на Японию.

Япония тоже остров, но это архипелаг — нет того одиночества, той сосредоточенности, нет той трагической мечтательности, что витает вокруг одинокого острова. Архипелаг — это морской хоровод. Что-то удивительно радостное в этом чередовании воды и суши, в игре излучин и мысов: много жизни, много обмена человеческого в этой перекличке с острова на остров; много игривой красоты в этих кусках моря, которые похожи на озера или на реки; тут материк просыпался в море, раскидал свои куски; тут море оторвало от материка его береговые части.

Япония мне не понравилась. Я был не вовремя, я был зимой. Японию надо смотреть или осенью, когда цветут хризантемы, или весной, когда вишни цветут; я ее видел под снегом. И японцы мне не понравились. Они все время бессменно вам улыбаются в лицо, хихикают. Это невольно внушает подозрение к тому, что они делают за спиной. Японки — куколки, хохотушки: палец показать — смеются. Конечно, я видел в Токио то, что показывают всякому иностранцу, — фантастическую Йошивару, квартал женщин. Улицы, в которых дома окружены верандами; эти веранды забраны золочеными решетками, в этих клетках на кокосовых циновках, со своими затейливыми прическами, в своих пестрых кимоно — улыбающиеся японочки. Сидят, разложив шлейфы по полу вокруг себя, подпоясанные широким поясом с узлом на спине, и над бронзовым горшком, в котором горячие угли, греют свои кукольные ручки. Женщина, превращенная в игрушку. У

решеток толпятся мужчины, смотрят, перекликаются, выбирают… Среди глазеющей толпы видел и детей… Говорят (правда ли?), что многие девушки поступают в эти дома, чтобы составить себе приданое… Все это невероятно на наш европейский глаз, все это переносит в другую расу.

О, как вопрос расы встал неумолимою, нерушимою твердыней в глазах моих во время кругосветного моего путешествия. Посмотрите японское искусство. Что может быть прелестнее? Прежде всего, как никогда, в Японии встала передо мной связь искусства с природой. Уже подъезжая к Иокогаме, увидел я с парохода на мысу вырисовывающиеся сосны — низкие, приземистые, стелющиеся и с тем несомненно карикатурным, что есть в японском искусстве. Когда я увидел японскую собачку, кудрявую, с кольцами волосиков на лбу, с бородкой и усиками, я понял, откуда те фарфоровые грифы, которыми мы украшаем камины и шкафы. И когда я увидел сидящих на полу вкруг бронзовых горшков кукольных японочек в затейливых прическах, проткнутых длинными булавками, я понял, сколько реализма в жеманной женщине японского искусства. И, несмотря на всю прелесть японского искусства, оно не есть моя настоящая духовная пища; оно зовет меня и радует, но оно не есть ответ на внутреннее мое стремление, и не к этим высотам воздыхает дух мой. И только в Японии я понял — почему. Я понял, что я люблю японский предмет, поскольку могу его внести в свой дом, приобщить к своей обстановке; я любовался им, не выходя из европейской атмосферы. Оттого любил сравнительно маленькие предметы. Но здесь, в Японии, я увидел большие здания, храмы, ворота, дворцы, попадая в которые, я сам входил в иную, японскую атмосферу, и эта атмосфера была мне чужая. Вот эта чужесть — это и есть расовая разность. И не в воспитании — гораздо глубже, нежели в личном воспитании, сидят корни этого чувства: в глубоких недрах человеческой природы, в таинственной наследственности от прежних поколений. Раса всего сильнее говорит в человеке; в расе сидящими корнями он чувствует, из расовых глубин исходящими родниками он высказывается. И вот почему чуждо ему то, что от другой расы; он ценит, он любуется, он любит, но дышит он только тем, что от своей расы. Кто это хорошо понимает, глубоко чувствует, тому так смешны кажутся потуги заменить эту творческую силу человеческой природы тою людской выдумкой, которая именуется классом!

Да, Япония мне не понравилась. Я шел тогда вразрез с установившимся мнением; тогда было в моде восхищаться японцами; эту моду установили в особенности моряки всех

национальностей. Для них Япония была своего рода Капуа: гейши, чайные дома, в каждом городе Йошивара, в Иокогаме знаменитый на весь Восток № 9, хризантемы, вишни, мандарины, которые вам обчищают прелестные пальчики и подают как-то особенно, раскрытые звездою. Конечно, во всем этом есть прелесть новизны, экзотическая терпкость, но много и дешевки. Первая японочка, которую я видел, это было на чикагской выставке; она прислуживала в чайном домике. Она была очаровательна, нельзя было вдоволь наглядеться. И думал я: как она мила, как приветлива, какая у нее прелестная улыбка. Но когда я в Японии увидел, что все так же «милы», что все так приветливы, у всех такая улыбка и что так они всем улыбаются, тогда через две недели мне захотелось бежать, и я бежал, бежал от смешка.

Я познакомился в Японии с замечательным человеком. Это наш тамошний епископ Николай. Он больше тридцати лет провел в Японии. Он был ревностный миссионер; его словом создалась многочисленная православная паства и воздвигся в Токио православный собор. Это был человек большого ума, огромной начитанности и один из лучших знатоков Японии. Между прочим, он перевел на русский язык все памятники японского эпоса; это был бы клад, которым не обладает ни одна европейская литература; к сожалению, труд его сделался жертвой одного из тех пожаров, которые бывают только в Японии, где домики деревянные, а внутренние перегородки бумажные. Епископ Николай очень интересно рассказывал о Японии; слушать его было, с одной стороны, приятно, но с другой стороны — нестерпимо. Он страшно увлекался, захлебывался и все время раскрывал скобки, которые в пылу увлечения забывал закрывать. Из его рассказов помню, что, когда я ему сказал о неприятном впечатлении от этого никогда не прекращающегося японского смеха, он заметил, что это есть последствие одного из основных правил японского воспитания: с ранних лет детям внушают, что только женщине свойственно показывать, что она чувствует, а всякий человек, владеющий собой, должен это скрывать. Вот откуда этот смех; смех в Японии есть завеса души. Еще помню рассказ из японского эпоса. Три народных героя воспеваются в былинах. Как зовут двух, не помню, но третий, любимец народа, — Тукугава. Вот как сказание народное рисует различье их характеров и отношения к людям. Что делает каждый из них, когда соловей перестает петь? Первый говорит: «Убить его!» Второй говорит: «Заставить его петь!» А Тукугава говорит: «Подождать, пока запоет».

Преосвященный Николай был удивительный человек и

редкий пример ясного разделения принципа религиозного от национального. В то время как в России струна национальной религии натягивалась до последней степени напряжения, когда говорили, что только православный может быть настоящим русским и только русский — настоящим православным, епископ Николай так сумел поставить свое миссионерское служение в Японии, что даже во время войны с Россией продолжались служения в токийском соборе и ни малейшего трения не было между японцами-разноверцами.

Странная страна Япония. Смеющаяся и себе на уме, игрушечная и серьезная, маленькая и сильная. Мы изведали ее силу на собственной нашей слабости. И я познал причину и той и другой, когда во время японской войны прочитал где-то песнь, которую японская мать поет своему ребенку. «Почему, спрашивает песнь, русские претерпевают пораженье?» «Потому, отвечает песня, что у русской матери нет любви к отечеству». Странная страна Япония. Когда мы думаем о ней, мы видим броненосцы и дальнобойные орудия; когда мы мечтаем о ней, мы видим кукольных женщин в игрушечных домах, игрушечных мужчин в кукольных садах. И кажется, не жизнь все это, а ожившее искусство. Склоны гор, разделанные в лоханки; сребристый блеск искусственно задержанной воды, гибкий шелест бамбуковых тростей; по сухой меже меж двух водою залитых полей танцующей босой походкой проходящий огородник; на перегибе каменного мостика, над дремлющей водой, в желтом кимоно, с лиловым бантом за спиной, замечтавшаяся куколка с протыканной иголками прической под пестро-натянутым зонтиком; на сонном зеркале воды, средь зелено-распластанных листов, алые недра раскрытых кувшинок. Аист в небе, журавль у воды; белым конусом рассыпавшаяся снежная макушка вулкана Фудзиямы; хризантемы, глицинии, вишни, ирисы — все это из природы ли перешло на ширмы, на вазы и в бронзу или с бронзы, с ваз и ширм сошло и в природе ожило?.. Япония — странная страна.

После игрушечности и детскости Японии поражает Китай серьезностью, стародавностью своей. Я только прикоснулся к Китаю. Мы держали путь на Цейлон и зашли в Гонконг. Представился случай, пока пароход стоял в гавани, подняться ночью по Жемчужной реке до Кантона и в следующую ночь вернуться на свой пароход, чтобы на заре снова выйти в море. Про Кантон говорят, что это самое китайское, что можно видеть в Китае. Я плохо помню эти несколько часов, но это было нечто адское по впечатлению. Я провел все время в паланкине; на двух длиннейших бамбуковых тростях, перекинутых с плеча на плечо,

два китайца упругой, мелкой походкой несли койку, в которой я полувозлежал. Это был нескончаемый лабиринт улиц. По бокам улицы не дома, а лавочки, открытые, с прилавками, выходящими на улицу; вонь от мяса, от овощей, от рыбы, от жареного, от монашек; на прилавках кровь, кишки, со стен висят ободранные собаки и обезьяны. Воздух становится все невыносимее. Над головой, через улицу, с лавки на лавку перекинута бамбуковая решетка, и с нее свисают деревянные доски с цветными китайскими надписями; во всю длину улицы идет как будто потолок, и только задрав голову видишь кусочек неба. Вонюче, душно, жутко. Но самое жуткое — это толпа. В этом узком, но бесконечно длинном пространстве кишит людское племя все время, беспрерывно и в таком количестве, в каком никогда не видал людского племени. Валит поток желтокожих женщин и мужчин, валит «желтая опасность» и не прекращается; улица кончается, сворачиваем в другую, а поток людской не унимается. И вся толпа говорит, как только восток может говорить, — с тем напряжением, с каким говорит человек, хотящий другого криком переубедить. Неослабность этой лавины людской, отсутствие передышки в этом звуковом напряжении и невозможность остановить взор хоть на одном недвижном предмете действовали каким-то головокружительным угаром. Я наконец закрыл глаза. Упругая босая походка носильщиков укачивала. Вдруг произошло нечто совсем никогда не испытанное: меня обдало морем молчания. Я открыл глаза: зеленые луга, деревья, рисовое поле, а сзади высокая городская стена и в ней высокие причудливые ворота. Птички чирикали… Блаженство тишины… Но было слишком поздно, у меня начиналась головная боль, самая сильная, какую в жизни испытал. Пришед в каюту, лег и всю ночь кричал от боли… Никогда не забуду Кантона. С утренней зарей вышли из Гонконга в Тихий океан.

Тихий океан, обычно бурный, был тих. Распустили паруса: «Шуми, шуми, послушное ветрило!..»

Сияла гладь. Под ветерком молчаливый пароходный нос тонко рассекал воду и воздух, шумливая, тяжелая корма разгоняла вправо и влево пену, поднятую винтом, и далеко за собой расширяла хвост своего следа. Белые сновали чайки; падали, ловили и взлетали; и черные, гладкие, из воды колесом выходили и в воду погружались игривые спины лоснящихся дельфинов… Так шли мы пять дней. И каждое утро англичанки на палубе, поздоровавшись, приветливо добавляли: «Lovely morning!» (Прелестное утро). Как любят англичане приветствовать барометрическими подтверждениями…

На шестой день новое прикосновение к земле — Сингапур, на

южном кончике Малакского полуострова. Узловое скрещивание мировых путей: из Америки в Африку, из Японии в Европу, из Австралии в Америку. Все расы, люди всех цветов, всех одеяний, всех наречий. Схожу на берег. Успеваю посмотреть знаменитый ботанический сад: пальмы, бананы, огромные папоротники, гигантские бамбуки. В этом царстве сна и сказки будит разум одна надпись, напоминающая о том, что «рвать цветы и ломать кусты запрещается». Эти слова, в этом городе, где проходят все расы земного шара, начертаны на одном только языке из всех языков земного шара — на русском… Нагруженный апельсинами, бананами, ананасами, возвращаюсь на пароход. В тени парусинового навеса лежит на кушетке англичанка, не сходившая на берег, и пишет свои путевые заметки.

— Вы были в городе?

— Да.

— Вы видели туземцев?

— Видел.

— Можете мне сказать, много ли они питаются рисом?

— О да, на ступенях каждого крыльца сидела семья и из котелка ела рис.

Быстро заработала рука по белому листу: карандаш смелеет, когда ум богатеет…

Тронулись. Держим путь на Коломбо, Цейлон. Опять сияющая гладь и каждое утро «lovely morning». А ночью пенистый хвост нашего далеко расстилающегося следа фосфором горит:

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены…

Какая слиянность в бесчисленности звездной. Какая слиянность в ответных трепетах небесной тверди и зыби морской. Какая стройность в горизонтальном шествии высоких вертикальных мачт. Какое единство отражений в моей душе. И в первый раз приходит мне на ум, что стих:

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна —

надо принимать не как перечисление чередований, а как двойное выраженье одной слиянности: не сперва звезды, потом волна, а звезды и волны в единовременном вещании природы…

В Сингапуре перед самым отплытием, в то время как разговаривал с англичанкой, писавшей путевые заметки, увидел поднимавшуюся по мостику высокую, белыми покрывалами укутанную фигуру; из этого белого смотрело темное лицо, обрамленное черными волосами, и улыбались мне глаза нашего знакомого по чикагскому конгрессу Дгармапала.

— Откуда? — спрашиваю.

— Из Японии.

— Куда?

— В Коломбо.

— Зачем в Японии были?

— По нашим буддийским делам.

— А сейчас?

— Еду с японской депутацией. Японские буддисты посылают в дар цейлонским древнюю-древнюю статую Будды. Хотите, когда приедем, посмотреть на церемонию? Я вам скажу и день и час.

Мы подошли к Коломбо на десятый день вечером. Дгармапалу встретила депутация. Он сказал мне при прощании: «Завтра вечером, в шесть часов, здесь, на пристани».

Другой такой картины не помню наяву, как та, что я увидел на другой день. Сняли древнюю статую с парохода и понесли между шпалерами туземных женщин и мужчин. Проходили под пальмами, сыпались цветы, одежды колыхались, развевались бледные радуги кисейных покрывал. Лентою вилась смуглая толпа, и, как огромные цветы каких-то сказочных пионов, стояли пестрые чалмы над мягкой прихотью женских уборов. Так шли, и за толпой меж пальм сияло море… Иногда по приглашению Дгармапалы садился в шарабан, запряженный горбатым быком… Когда учился географии, помню, в атласе этакий горбатый бык назывался «зебу»… Подошли к воротам; за ними зеленый луг, на нем раскинуты павильоны — на белых колоннах крыши без стен. То храмы буддийские.

Перед средним храмом толпа оранжево-желтая. То жрецы; хламида у всех перекинута через левое плечо, правая, голая рука свободна. Совершенно хор из оперы. У всех бритые головы. Впереди стоит верховный жрец. Меня подводят, представляют. Кланяюсь. Верховный жрец смотрит в сторону. Кланяюсь вторично — он смотрит в другую. Кланяюсь в третий раз — меня не замечают. Один из спутников наклоняется над моим ухом: «Не удивляйтесь, это закон: служитель Бога всем людям брат; поклониться каждому человеку на земле невозможно, а одному — несправедливо». Пока шли приготовления к молитвенному собранию, вошли в помещенье верховного жреца. Со мной беседовали — конечно, чрез переводчика. Спросил, знал ли я в

Петербурге профессора Минаева, знатока санскритского языка. Сказал, что был его учеником в университете. Обрадовался верховный жрец, сказал, что знал его, что он бывал на Цейлоне и у них в гостях, в этой же комнате; его труды ценятся высоко. Подарил мне книжку своего сочинения — непонятные, затейливые письмена… Пошли в храм. Начались речи, приветствия и ответы. Я сидел на эстраде среди почетных гостей; верховный жрец сидел тут же. Я ничего не понимал из того, что говорилось на бенгальском и японском языках, и смотрел на удивительную картину сидящих на полу, закутанных в кисею женщин, на стоящих около колонн мужчин, на свисающие, со свода лампады, на звездную ночь в просветах между колонн и на высокие пальмы в ночи… Вдруг над моим ухом по-английски шепот; от имени верховного жреца просят меня сказать слово. Пришлось выходить. Я сказал им то самое, чем приветствовал конгресс религий в Чикаго. Есть у Достоевского в «Братьях Карамазовых» история про старуху и луковку; эту историю я им рассказал. Вот она; рассказываю своими словами.

В аду мучилась одна старуха, великая грешница. Однажды увидела: высоко в лазури небесной пролетает ангел. Возопила. Ангел остановил полет, приник.

«Будешь пред лицом Всевышнего, скажи, что есть такая старуха, которая испытала больше, чем вытерпеть можно. Не будет ли милость Господня облегчить ее страданья». Полетел ангел, доложил. «Узнай, — сказал Господь, — есть ли за ней хоть одно доброе дело на земле». Вернулся к старухе. «Да, — говорит, — раз я нищему луковку подала». Опять доложил ангел. «Возьми луковку, — сказал Господь, — протяни ей, пусть ухватится, а ты тащи: выдержит луковка — спасена будет». Ангел так и сделал. Старуха ухватилась, ангел стал тащить — старуха стала из огня подыматься. Только вдруг замечает: за ноги к ней другой грешник прицепился; однако луковка выдерживает. Ангел тянет — они все выше поднимаются; смотрит старуха — еще грешник, а там еще и еще: целая цепь висит, за ноги ее держатся. Страшно сделалось старухе, начала брыкаться — не отстают, а все больше их. Тогда со всей силы крикнула: «Отстаньте! Луковка-то ведь моя!» Только сказала — стебелек сломился, и все обратно в огонь вечный полетели.

К этой истории приделать маленькое нравоучение для данного случая, что хорошее на земле принадлежит всем, что в духовной ценности нет собственности, что Гёте Карлайлю писал: «Истинно прекрасное принадлежит всему человечеству», — это уже нетрудно… История луковки, «The carot is mine!», имела огромный успех в Америке. «The carot is mine!» — раздавалось и в

заседаниях, и в частных разговорах, и на плацу, где играли в футбол. И про эту же луковку рассказал я перед наивной аудиторией индусов. Я говорил по-английски, а туземец переводил на бенгальский; я кусочек говорил, выжидал перевода и продолжал. Очень было занимательно при этом наблюдать, как во время моей английской речи смеялись те немногие, которые понимали, как их смех подстрекал внимание тех, кто не понимал, и как после перевода разражалась смехом вторая, многочисленная группа, да и первые заодно еще раз. Когда я кончил, когда умолкли знаки одобрения, произошло нечто невероятное: верховный жрец встал, подошел ко мне и при всем народе протянул мне руку. Над ухом моим взволнованно-торопливо прошептал один из моих спутников: «Никогда не видал, чтобы он такую вещь сделал».

Так кончился мой первый день на Цейлоне, и все пребывание на этом острове прошло под покровом этого первого впечатления: какая-то сказка, какая-то неосязаемость, неуловимость; ничего материального; одни образы, краски, какие-то бесплотности. И общее впечатление — растительное. Растения, куда ни глянешь — растения, листья, стволы, ветви, цветы, но все в огромных, непривычных для глазу размерах, с невероятной щедростью растительной силы. И с какой для нашего европейского глаза ценностью! Представьте себе редчайшие тепличные растения, выкинутые на улицу или растущие по краю канавы, у забора. Вы видали, конечно, в теплицах бывает еще внутренняя, вторая тепличка; там очень жарко, очень сыро, хорошо пахнет и там растут самые удивительные растения, нежнейшие папоротники, невиданные листья, темно-зеленые и по ним жилки розовые, белые, малиновые. Вот это я видел там у заборов, это там растет, как у нас крапива и лопух. Когда я этим любовался, я с сожаленьем смотрел на туземцев: ведь они не сознают, что окружены редчайшей прелестью; то есть они красоту, конечно, ощущают, но редкости ее, очевидно, не могут ощущать.

И странные мысли приходят на ум. Если у нас в Европе строят теплицы, в которых выхаживают эти редкостные растения, то может когда-нибудь случиться, что на тропинках какой-нибудь любитель ботаники построит «холодницу», в которой будет выращивать крапиву и лопух. Но, конечно, кроме редкости, которая является принципом субъективным, есть и объективная ценность, и если можно в такой «холоднице» на Цейлоне взрастить клюкву, то при всей ее редкости все же персики и ананасы вкуснее и тамошние заборы красивее наших. И, несмотря на всю красоту, скажу: я не люблю природу, в которой нет травы-муравы, где нельзя под деревом с книжкой лежать. Это природа

изумительная для глаз, но войти в нее, смешаться с ней как-то трудно. Смотришь на нее как на декорацию, невероятную декорацию. Самое невероятное, что я видел, это путь из Коломбо в Канди. Канди в торах, там не так душно, это дачное место. Но что за дорога! Поезд вьется по горам, но эти горы как будто в зимнем саду: пальмы, папоротники, бананы, филодендроны, павлонии, араукарии.

И кажется кощунственным железнодорожный шум среди этой тропической девственности. И самое удивительное среди этой тропической растительной сказки — тюльпановое дерево. Огромный ствол у земли как будто несколько раз закручивается вокруг себя, сам себе делает пьедестал и потом, как гладкая колонна, устремляется вверх, под раскидистую шапку; на этой шапке сидят огромной величины красные цветы, красные цветочные бокалы; когда они зрелы, они срываются и падают в одиночку тяжело на землю — прямо картина из «Парсифаля»… Какой преизбыток красоты, когда такой красный бокал срывается с зеленой высоты своей, чтобы упасть к вашим ногам! Когда их много упало — какой ковер!

Цейлон — царство лени, полудремы. Там нет быстрого движения. Даже глаза, самый быстрый из наших органов, там передвигаются лениво. Помню, мы поехали внутрь острова посмотреть старые развалины; втроем с двумя англичанками мы сидели в арбе; тут же сидел, ближе к переднему краю арбы, смуглый туземец, сидел боком, полулежа, свесив ноги через край телеги и от времени до времени жердочкой бамбуковой постегивал своего зебу, горбатого быка. Как изводила меня сонная медленность, с которой он стегал. С каким безразличием к тому, пошло ли вьючное животное скорее или нет… И вдруг я понял: ведь бык не может идти скорее, так зачем же и вознице вносить энергию в свое стеганье? Да, наш русский ямщик в свое стеганье вносит энергию, но этот погонщик сонного быка — зачем он будет энергичен? И понял я, как в движении своем человек заражается от природы. Кто живет около горных потоков, у того походка бодрая, быстрая, твердая; кто живет у наших тихих рек, текущих в сыпучих, мягких берегах, у того походка вялая, мягкая. И ямщик от тройки гикает на тройку же, погонщик сонного зебу и сам дремлет. И мы дремали, и все кругом дремало; дремали перистые высокие бамбуки, никли с ветвей тяжелые лианы, и, сонная, через дорогу перед нами проползала толстая змея, и на другом краю дороги усасывала ее знойно-сонная земля… О дебри, зеленые, солнечные! Как хороша нескончаемая глубина вашей зелени и вашей солнечности!.. Как солнечна ваша зелень, как зелена ваша солнечность! Читал однажды в оглавлении

одного журнала: «Дебри эстетики». Как бы впоследствии одно-единственное кольцо касалось плеча. Самые красивые женщины, которых я видел, это в Дели — цвета кофе с молоком; черные миндалевидные глаза, как у лади, с сильными белками; серьезные, загадочные, укутаны в белые покрывала и носят на ноздре запонку, серебряную мушку.

Цейлон, когда вспоминаешь остальную Индию, уходит в какую-то растительную дымку — это огромный цветок. Конечно, этому впечатлению способствует то, что я не охотник; для других Цейлон есть зеленая чаща, трещащая под грузной, сокрушающейся поступью слона. Для меня это цветок, оторванный от материка; в нем недвижность и молчание. Вся прочая, материковая Индия — движение и говор.

Самое своеобразное, что я видел в Индии, это Джейпур, столица Раджпутаны, на полпути между Калькуттой и Бомбеем. Что за прелесть этот розовый городок. Резиденция магараджи, и весь город — какая-то «царская потеха», какое-то театральное представление на открытом воздухе. На площади у фонтана, как бы посреди сцены, остановил извозчика и так из коляски и смотрел на «представление». Вот прогуливают царских лошадей; какие седла, какие чепраки и что за лошади! Помню одну, гнедую, как атлас, с белой гривой и белым хвостом и на одну ногу белоножка, что так ценится арабами… Вот на цепях водят царских пантер; это как соколиная охота, их спускают на четвероногую дичь. Вот катают придворных танцовщиц, в больших двух открытых каретах едет их двенадцать, пятнадцать — смуглых ланей с белками в черных глазах, в кисее, с кольцами в ушах, с серебряной мушкой на носу; и блестя г звонкие запястья на смуглых руках… И что за толпа, что за картинная толпа! Какая аристократичность демократической толпы! О, как выродилось арийское племя в нашей Европе! Какой праздник для глаз; люди всех цветов загара, и все кисея, бледные цвета, под жгучим солнцем умирающие радуги…

Да, Джейпур, может быть, самое сказочное, что я видел в сказочном Востоке. Помню в окрестностях фиговую рощу, и на фиговых деревьях сидели и с веток спускали златоглавые хвосты свои синие павлины; среди них я ехал на слоне. Неприятен слон — толчками идет; вроде телеги на четырехугольных колесах.

Вспоминается мне одна кинематографическая лента, которую видел в Париже и пошел смотреть второй раз, — так она была восхитительна. Она изображала путешествие английских короля и королевы в Индию. Я видел это кинематографическое воспроизведение в цветных снимках десять лет тому назад и не могу забыть. До сих пор, когда закрою глаза и вспомню, вижу

блеск этого солнца и густую синеву ложащихся от него теней; и в этом изумительном, невероятном по яркости своей освещении я вижу изумительнейшее, невероятнейшее из зрелищ. Посреди необъятной равнины — королевская ставка: на высоких красных ступенях, под золотою сенью, видные со всех сторон, сидят король и королева. Вся равнина усеяна войсками и народом, но не толпа, а правильно из людей составленная геометрия; все поле разделано двуцветным песком — на одном песке стоят, по другому идут и проходят. И что за картина это сочетание английских мундиров и туземных облачений. Проходила английская пехота в красном, проходила туземная пехота в английских мундирах, но с чалмами; проходила туземная артиллерия черных людей, туземная артиллерия на верблюдах. Огромные, нагруженные людьми, с целыми селеньями на спине, шествовали слоны, увешанные драгоценными бляхами, ожерельями, гордые своими уборами, в развевающихся мантиях разноцветного атласа с серебристыми переливами. И с такими же серебристыми переливами, в своих розовых кафтанах и с белыми атласными знаменами, легкая, молодцеватая, проходила дружина смуглых сипаев — чуть не слышен под ветром плеск лоснящихся знамен. И все блестело и сияло, опаленное огнем тамошнего солнца, очерченное синевою тамошних теней. Одна картина еще запомнилась мне: просто толпа, море голов, море лиц, и все щурятся на ослепительном солнце.

Да, толпа восточная — нескончаемый праздник для глаз. И характерно различие окраски восточной толпы в разных местах. В Индии пестрая, в Каире синяя, в Тунисе белая.

Индия и сама пестрая, Каир с синею толпой сам красный на фоне песчаного моря пустыни, а Тунис и сам белый и толпа в нем белая. И как на этом белом всякая краска выделяется! Идет перед белой ослепительной стеной арап, черный, чернее черного, в светло-зеленом бурнусе; большой вырез на черной груди перерезан белой рубашкой; запускает свои черные лапы за пазуху и из-за пазухи зеленого бурнуса в черных лапах вытаскивает два апельсина. О акварель, зачем я не владею кистью!

Когда говоришь об островах и о море, трудно не вспомнить пустыню — песчаное море. Коварная обворожительница, заманивающая, втягивающая и вместе с тем — великая успокоительница. В этой ровной глади какое-то могущество горизонтали, и в грозном ее единстве — редкая вертикаль как начало робко нарушающее. Идет верблюд, корабль пустыни, мягко ступает мягким копытом в мягкий песок. Смуглый погонщик в синей рубашке с белой ермолкой идет за верблюдом; гортанным криком на букву «А» от времени до времени погоняет

его; сколько неразгаданного в этом гортанном «ха-а»: и мольба, и покорность, и тоска; и все это безгранично, как безгранична окружающая пустыня, и бездонно, как бездонны недра человеческих поколений…

Не могу себе представить пустыню иною, нежели арабской, а ведь была когда-нибудь и она другая, как все на земле. Между Тунисом и Сфаксом есть посреди пустыни римский цирк, гигантский, и ничего кругом: пустыня, колизей и кактусы. Значит, была пустыня когда-нибудь и римская. Сейчас в тенистой стороне этого огромного цирка приютились арабские сакли — человеческие гнезда, микробы в щелях римского скелета. Это мне напоминает — есть такая особая вошь, она водится только на шишке, которая вырастает у кита на его сто первом году от рожденья. Огромный старый кит, этот колизей среди пустыни, старый, хмурый, гордый среди корявых кактусов, непреклонный в неслиянности римского величия с беднотой арабского кочевья. И до сих пор вижу колыханье волнистых бурнусов на римской недвижности каменных очертаний…

Мягко шагает верблюд, удобно сидеть в мягких подушках на высоком горбу; чуть-чуть укачивает… Погонщик издает свое гортанное понукание — жалоба ли человека или вздох пустыни?.. Вот вереница женщин с завешанными лицами, с кувшинами на головах. Вода — самое драгоценное в этом море песка… Вот встречный всадник, закутанный в бурнусы, на дивном арабском коне, светло-гнедом, с черной гривой и таким же хвостом и с белою у самого копыта щиколоткой. У араба крученою веревкой окручена чалма и за спиной длинная, тонкая винтовка… Вот идет в белом бурнусе араб, и свисают с головы по обе стороны до земли две вязанки красного перца; как красное вино, горят прозрачные стручки, пронизанные закатными лучами склоняющегося солнца… Вон среди пустыни, опустившись на колени рядом с лежащим верблюдом своим, оборотившись к заходящему солнцу, творит вечернюю молитву бедуин… И каждый день вечерний час, как дуновенье ветра клонит покорную ниву, склоняет под молитву покорные чалмы, и Восток, преклонив колена, молится на Запад…

Вслед уходящему солнцу пойдем и мы. Довольно Востока, тянет домой. Зовет Средиземное море. О колыбель наша, наша духовная родина! Между Азией, Европой и Африкой, синее, смеющееся: то Эгейское, то Мраморное, то Адриатическое, то Ионическое — и всегда Средиземное. Что прелестнее архипелага между Малой Азией и Грецией? Точно камней набросала природа, чтобы по ним чрез зыбкую пучину человечество переходило из мира древних созерцаний в кипучий мир мысли и

труда. Какое соприкосновение миров: малоазийские острова — как брызги Греции на Азию, а Турция — как азиатский всплеск на нежные греческие берега. И вот Греция! Не эта, конечно, а та, прежняя, давняя, та, что называется «древняя»; и почему называется? Что может быть более юно, чем Древняя Греция? Когда дедушка рассказывает внукам о молодости своей, он молодеет; так и мы: когда думаем о «Древней Греции», мы молодеем. Греция — молодость человечества. И, блестящая, стройная, с тирсом, с тимпаном, с влажными глазами, прекрасная и мудрая, венчанная лавром, стоит она, божественно-земная, среди Средиземного моря. И все в нее стекается, и все в ней зарождается, и все из нее излучается, все прекрасное и все мудрое, все, что было, и все, что будет. Всегда она смыкала в себе надежду веков. И когда наступили великие потрясения, когда дрогнула земля под топотом варварских нашествий, когда утрачены были пути и потухли огни, когда и ее священную землю попрала кощунственная пята и святотатственная длань погнула божественную выю, — тогда, во мраке варварских нашествий зажегши древний факел свой, она через море подала его сестре Италии, и там возжегся факел Возрождения. Да, Средиземное море баюкало нашу духовную колыбель: адриатические волны лобзали и берег Греции и берег Италии.

Далматинский берег Балканского полуострова есть всплеск Италии: итальянская речь, итальянские церкви, венецианские здания, и всюду глядит на вас венецианский Лев Св. Марка. С обеих сторон Адриатического моря, с балканского берега на апеннинский и с апеннинского на балканский, мраморный Лев Св. Марка вперяет очи вдаль и держит в лапе раскрытую книгу, в которой первое слово: «Pax Tibi» (мир тебе). А между тем все самое кровавое в истории нашей истерзанной Европы оттуда исходило, там все зачиналось, в этом уголке Адриатического моря…

Какая нега на этих берегах, когда не просыпается «брань племен»! Корфу! Какой нежный остров в тени трепещущих олив. Огромные оливы, старые, дуплистые, и на них молоденький серебристый листок. На горе, над высоким берегом моря, раскинули старые оливы сени своей листвы, а внизу, под берегом, на синем море островов и на нем белый монастырь. И все обрамлено тенистою завесой трепещущих листов. Тут же, на этом же Корфу, безвкусная вилла императрицы Австрийской, несчастной Елизаветы, которую впоследствии купил Вильгельм. Что больше свидетельствует о безвкусии: построить или купить?

Вот удивительное Каттаро над глубоко в берег врезавшейся гаванью, у подножия исполинских гор; по этим горам, снизу

видно, вьется белая лента до самого верха — то дорога в Цетинье. У меня было время от парохода до парохода, я перевалил через горы. Я видел скалистую Черногорию, дикую, бесплодную. Приехал в Цетинье в восемь часов вечера и уехал в шесть часов утра. Какое огромное усилие только для того, чтобы сказать — «побывал». Я ехал в коляске с одной француженкой, учительницей пения. Перевалив через горы, увидели налево вдали сияющее озеро. Возница наш обернулся и, указывая бичом, сказал: «Езеро». Я увидел в глазах моей спутницы какой-то ужас.

— Да я третьего дня спросила кучера, указывая на озеро, что это такое. Он мне ответил, что это Езеро. Не проездила же я двое суток, чтобы очутиться на том же месте!

Я ей объяснил, что «езеро» есть имя нарицательное, не собственное и значит «озеро». Иногда малого довольно, чтобы успокоить человека…

Вот милая Рагуза. Старые-старые крепостные стены и обсыпаны олеандрами, красными и белыми. Весь город обсыпан олеандрами, и простреливают его вверх бодрые стрельчатые кипарисы, а сверху осеняют развесистые, усталые платаны. И тут тоже есть островок с монастырем, и растут на островке особо пахучие травы; монахи их берегут и разводят. Там тихо, на том островке; там знойно, пахуче; шмыгают ящерицы и пчелы жужжат. На этом островочке стоит бюст американца Гордон-Бенета. Этот миллиардер, издатель «New York Herald'a», опутавший земной шар проводами своего телеграфа, на страницах газеты своей играющий мировыми событиями, сюда уединяется; он благодетельствует монастырю, монахи поставили ему памятник, ящерицы играют вокруг его подножия…

А вот грозное Спалато — дворец императора Диоклециана, полуразрушенный, и в остове этого дворца поместился город: лестница царского жилища — улица, двери — городские ворота. История реквизировала его под народную собственность…

Больше двухсот лет этот берег далматинский смотрит на Италию, и только теперь, после недавних потрясений, соединились они, и Адриатическое море стало итальянским озером, и Венеция, когда смотрит через воду, уже глядится не в чужеземную, а в собственную даль…

Венеция! На песчаных островах мрамором расцветший город. Вспоминаю, что моя мать однажды спросила одного крестьянина, бывшего матроса, у нас в деревне, в Павловке, — какой из всех городов в кругосветном его плавании понравился ему больше всего. «Венеция, — сказал он, — потому что там зимой тепло, вместо улиц там каналы с мраморными дворцами, и народ всю ночь поет». Какое красивое и в сжатости своей полное

определение: и климат, и искусство, и человек. Этот пахарь Тамбовской губернии памятью своей выбрал воду, мрамор, ночь и музыку, то самое, о чем писали поэты, то самое, чем музыканты оглавляли свои песни, то самое, что видел Пушкин, когда писал:

Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

О безмолвная лунность мраморных дворцов, трепещущая лунность сонной лагуны!.. Дыхание ночи… Проходит мимо длинная тень черной гондолы; звездочкой блестит фонарь на носу, и вертикальное его отражение, как огненное лезвие, прорезает путь, по которому она скользит. Как лебединая шея, недвижно щетинится над носом металлический гребень гондолы. В углублении, почти сливаясь с подушками сиденья, усталозачарованные две обнявшиеся тени. За ними, на высокой корме, тонкая тень гондольера обмакивает сонное весло в сонную воду. И кажется, не он ведет гондолу, а огонек ведет ее, и весло лишь ради плеска плещет. Тихо дыхание ночи; она вдыхает, когда вода подымается; она выдыхает, когда вода опускается… Ударил колокол вдали; медный звук упал в ночи над морем и растаял. С которого из островов? Киоджа? Мурано? Бурано?.. Тишина и вкрапленные в тишину где-то далекие песни…

Встает над Венецией солнце. Встает из-за моря, и скоро, спешно победные лучи по глади водной гонят полчища утреннего тумана. Раскрывается перед ним из ночной прохлады проступающий, уже горячим светом облитый ряд сияющих дворцов. Зажигаются солнцем купола Св. Марка, блещут рядом с куполами поднятые ввысь золотые греческие кони; белый мрамор, и цветистый мрамор, и золотые шарики крестов — все сияет на открытой площади перед открытым морем. А в узких, запрятанных каналах, где меж высоких стен дворцов замешкалась ленивая ночь, лучи охотятся за тенями, сметают, гонят их. Бегут с карнизов угрюмых мраморных ворот, бегут из-под балконов, прячутся за круглые колонны, вползают в щели, в глаза и ноздри мраморных масок и останавливаются, очерченные, под сводами мостов. Блеснула под солнцем гладь лагуны, и рыболовные барки понесли в открытое море непонятные знаки своих красных парусов…

Венеция проснулась, звенит говором людским, и плеском весел, и звоном башенных часов, и топотом шагов. Да, шагов: в Венеции не только в лодке катаются, в Венеции можно много ходить. И как прелестны эти маленькие улочки, суетливые, хлопотливые.

Как люблю эти лавчонки: фрукты, золотые вещи, овощи, гнутое железо. Как красиво колыханье этих женских венецианских шалей, черных, но смягченных морским соленым воздухом. Звонко-говорливо в венецианских улицах; там нет колес, нет другого шума, кроме людского; ни лошади, ни автомобиля; там на улице — как в комнате. Ни в одном городе так не слышен говор людской. Люблю эти маленькие улочки — хлопотливые, говорливые, люблю эти красные, кипучие артерии живой Венеции. Но во сколько больше люблю зеленые вены, сонные каналы дремлющей Венеции! Скользит гондола меж мраморных стен; ни говора, ни хлопотни; плеск весла, невидимый окрик гондольера из-за угла; встреча, легкое столкновение бортов и опять сонное колыханье… Вдруг новый окрик, и из-за угла, в разрыв двух дворцов, выплывает молчаливая громада овощами нагруженной барки…

Кругом все мрамор и вода; мрамор в воде отражается, вода о мрамор плещет; он в воду погружается, она к нему льнет. И если в прорыве меж высоких зданий вдруг солнечный луч ударит в эту сонную таинственность, как заиграет водяная зыбь отражениями солнцем зажженного мрамора; как заиграет мраморная гладь световою зыбью водяных зайчиков!

Две Венеции в Венеции: живая, сердцебиением бьющаяся красная Венеция маленьких улиц и — летаргическая, зеленая Венеция сонных каналов. И на каждом скрещивании этих двух Венеций — свод моста: красная поверх зеленой, зеленая под красной… В какие сны поднималось воображенье человеческое, в какие горние миры, чтобы свести на землю ту сказку, что называется Венеция?..

Сижу перед кафе Флориан на площади Св. Марка, под арками. За большими полосатыми занавесками солнце милостиво — тень, пронизанная светом. Вкусна в холодном стакане малина со льдом. На площади перед собором дети и иностранцы кормят голубей; кукурузовые зерна рассыпаются золотым дождем, и голуби толпятся в воздухе и на плитах мостовой, толпятся, теснятся, бьются крыльями, клюют, взлетают, возвращаются. В пернатом переполохе детский смех… Великий собор смотрит на них огромными растворами своих пяти дверей, и сияют в солнечных лучах колонны, мозаика, фризы, мраморные завитки, золотые кони, купола, кресты и шарики крестов. Целый мир мрамора и золота цветет и горит. И тот же самый цвел и горел и прежде, сотни лет до меня. Так же сиял и смотрел на нарядную Венецию нарядного Карпаччо, на пышную Венецию пышного Веронезе, на игривую пудреную Венецию Гольдони и так же смотрит на нашу современную толпу, серую, неопределенную,

коварную… Как ценим мы то, что неизменно; «во дни шатания земли» как ценим то, что не может пошатнуться… И люди, которые не меняются, как ценны. Ценны, как все редкое, редки, как все ценное. Вот почему так дорога Италия, что даже в тех переменах, которые она испытывает, она всегда одна, та самая, что была, потому та самая, что пресыщена прошлым, каждое настоящее мгновение в Италии полно прежних веков. И все мгновения, как бы ни были различны, связаны одним: из глубины времен в каждом мгновении живет уважение к предыдущему мгновению. Через сколько потрясений прошла эта страна, но никогда не было занесено на страницы истории их какое-нибудь разрушение памятника; что разрушено, разрушено варварами извне, своих варваров не было. Вся история итальянской культуры есть акт уважения и сбережения, и когда венецианская колокольня на площади Св. Марка рухнула, Италия ее восстановила. О томительная загадка времени! Повисло человечество в мгновении настоящего между прошедшим и будущим — в прошлом утраченный рай, в грядущем обещанный рай, и вместе с поэтом взываем:

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!

Любовь к прошлому — первый признак культуроспособности, потому что это есть любовь к тому, что не меняется. Прошлое есть; в силу того, что оно было, оно есть, есть и не меняется. Шиллер сказал:

Тройствен времени полет:
Завтра медленно подходит,
Как стрела, летит наш миг,
Лишь прошедшее недвижно.

В этой недвижности тот покой душевный, который находим в соприкосновении с прошлым. И воспитательная сила прошлого в том, что оно учит уважать то, что не меняется. Отсюда воспитательная сила тех стран, у которых большое прошлое.

Самое старое, что есть в Италии, это, конечно, Сицилия. Остров? Почти что не остров: из Реджо в Мессину через море кажется, что перешагнуть можно. Не памятниками даже так стара Сицилия, она стара легендами, именами. Там есть источник, который брызнул из скалы, чтобы утолить жажду Геркулеса;

город Трапани получил названье от серпа, который обронил Хронос, отец Юпитера. Есть ли легенды на земле, восходящие дальше Хроноса, бога Времени?.. Никогда не чувствовал такого едкого прикосновения античности, как в маленьком городе Джирдженти. На кряже гор, как на седле, расположился он, а пред ним к темно-синему морю скаты виноградников, и в их зелени золотисто-бурые громады трех греческих храмов. Несколько оливковых дерев дымкою своей заслоняют блеск моря, по лужайкам пасется скотина. И вот до такой степени едко было прикосновение античности: мне казалось, что и коровы те самые, о которых говорится в «Илиаде» и «Одиссее». Даже в Афинах, на Акрополе, перед Парфеноном, не ощущал я такую непосредственность соприкосновения; там я чувствовал известную «музейность», здесь все было на своем месте, не тронуто и окружено тем самым, чем было окружено тогда. Джирдженти гордится своими храмами i tempi: гостиница называется «Albergo del Tempi», местное вино — «vino dei Tempi». Сиракузы тоже старо, но не то, что милое Джирдженти; в Сиракузах все в музеях, все в витринах. Если когда-нибудь будете в этом музее, в том зале, где собраны монеты времен сиракузских тиранов, отыщите те, на которых изображена супруга Гиерона II — удивительная в ней прелесть.

Чего только нет в Сицилии! И Греция, и Рим, и арабы, и норманны — и все увенчано одной огромной Этной. «Как хороши они в часы погоды ясной, почти магометанские глаза Сицилии прекрасной».

Под Этной близко у подножия — Катания, родина Беллини. Немного севернее, ближе к Италии, — Мессина, большой цветущий город, в несколько секунд разрушенный землетрясением.

Я был в Риме в ту зиму. Хорошо помню страшные рассказы. В кинематографах показывали картины бедствия. В то время два русских военных судна проходило мимо Сицилии; они сейчас же причалили, высадили команду, и наши матросы стали откапывать и спасать жителей. Они проявили много мужества и заслужили большое сочувствие со стороны итальянцев. Залы кинематографов оглашались рукоплесканиями, когда на экране появлялся русский морской мундир. Помню, читал в одной газете рассказ жены доктора. Они сидели за столом, когда раздался страшный удар. Что было с мужем и детьми, она не помнит, но сама провалилась в черную бездну и лишилась чувств. Когда пришла в себя, она лежала как в гробу; кругом себя нащупывала стены и никакого выхода. Сколько пролежала, не помнит. Холод, голод и слабость сломили ее, она вторично потеряла сознанье…

Сквозь сон она услыхала стуки, все ближе, но была так слаба, что не могла даже глаз раскрыть. Вдруг — струя чистого воздуха и к закрытым глазам сильное прикосновение дневного света. Что-то стало обхватывать и поднимать ее, и, прежде чем она успела сообразить, она услышала «parole di conforto in una lingua sconosciuta» (слова утешения на незнакомом языке). Это были русские матросы. В то время в Европе «русский матрос» было синонимом отзывчивости и доблести. Не знаю, как сейчас…

Однажды, переезжая из Туниса в Сицилию, заходил я на остров Мальту. Большая среди моря блиндированная скала, военная твердыня, каменистая, желтая, без зелени. Здесь имел я любопытное театральное впечатленье, о котором говорю в другом месте моих воспоминаний. В последнее время имя Мальты окрасилось воспоминаниями русских беженцев, из Крыма бежавших от большевистского нашествия. Толпа несчастных безродных людей, без прошлого, без будущего, стояла на скале среди моря и провожала взорами пароход, на котором отъезжала императрица Мария Феодоровна. Пароход уходил и только оставлял струю дыма, а на гранитной твердыне Мальтийской скалы взволнованные, рыданьями прерываемые голоса пели «Боже, царя храни»…

Помяну последний остров моего рассказа. Я был на Корсике, в Аяччо, родине Наполеона. Маленький, ничтожный городок. Скалистый остров, неприветливый. Самая большая его прелесть не в реальных его качествах, а в том, чем наше воображение его заселяет, — конечно, Наполеон. Весь смысл Корсики в Наполеоне. Реальную прелесть вижу в нем одну только. Его горы усеяны пахучей травой, скорее, низкорослым кустарником, «систь» (cyste) называется она; очаровательный смолистый запах, который с моря слышен, когда подходишь к острову. Но и эта реальная подробность уже освящена именем Наполеона; нет описания Корсики, которое не упоминало бы о том, что Наполеон любил по запаху издали узнавать свою Корсику. Странно, ведь тысячи людей ранее его вдыхали этот запах и «узнавали» Корсику издали, но все это будет не то и не стоит упоминания, а единственно интересное, что Наполеон вдыхал, любил вдыхать; только его вдыханье превращается в легенду. Вспоминаю, что мне однажды один старичок в уездном городе на мой ответ, что я в карты не играю, сказал, что я себе готовлю очень скучную старость.

Как несправедливо: весь мир знает, что эти слова сказал Талейран, а я даже забыл, какой старичок мне это же самое сказал.

На Корсике очень много женщин в черном; там странный

обычай: надевают новый траур только по истечении старого траура. Есть семьи, которые никогда из траура не выходят. Женщины носят странные черные покрывала, в которые с одной стороны вложен китовый ус; они топырятся как большой козырек, как парус… Мало интересного в Аяччо. Над городом большая неуклюжая вилла, принадлежащая князю Каподистриа; построена из камней разрушенного Тюльерийского дворца. Мало интересного в Аяччо. На площади всегда стоял, все его знали, без шляпы, нищий; он был сумасшедший, он стоял подбоченясь и принимал одни только медные монеты, с гордостью отвергая серебряные. Так мало интересного в Аяччо, что даже не помню, видел ли я дом, в котором родился Наполеон. Не могу думать о Наполеоне и не вспомнить, какое место в его судьбе занимают острова. Орленок, взлетевший с Корсики, орел, полмира покрывший тенью своих крыльев и на Св. Елену опустившийся в цепях. И между этими двумя островами третий — Эльба. Ему недоставало, славе его недоставало плена и побега; его заключили на Эльбу, чтобы дать ему и эту славу. Но он поднялся, чтобы пасть.

Есть остров на том океане, —

он пал на этот остров. Когда думаю об острове Св. Елены, вижу статую скульптора Вэла во дворце Питти во Флоренции — «Последние дни Наполеона». В халате с расстегнутым воротом сидит, и глубокие глаза смотрят далеко. Сколько совмещает угасающий взор; в этом отходящем духе сколько мысли… И остров и океан; и жизнь и вечность — откуда и куда. Ведь и жизнь наша остров в океане мировом.

И еще вспоминаю удивительную книгу лорда Росбери о Наполеоне на Св. Елене («The Last Phase»). Незабываемая книга. Как жутко она приближает прошлое к сегодняшнему дню, как умеет маленькими, незначительными подробностями восстановить постройку жизни. Какая борьба против смерти эта книга. Прочитайте ее — Св. Елена живет горьким трепетом на ее страницах. Ведь и книга, которую мы любим, есть остров в бумажном море того, что написано и напечатано, и в сумерках нашего незнания то, что мы знаем, — световые острова…

И еще, конечно, вспоминаю обоих наших поэтов — и Пушкина и Лермонтова. Какая красота в их отношении к Наполеону, какая духовная отрешенность от земных расчетов, какое высокое забвение обид, в то время когда почти еще не зажили раны двенадцатого года. То была пора молодости; есть ли во всей истории более увлекательная страница молодости, чем

Дней Александровых прекрасное начало…

Молодость умеет забывать; старость прощает, а молодости и прощать не надо — она забывает. И юная муза наших вечно юных поэтов забыла. Взирая на могилу Наполеона, Пушкин говорит, что на ней

Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

Но поэзия его забыла ненависть и говорит лишь о бессмертии…

Наполеона не оставили на острове — его прах перевезли во Францию. Восстановленная, но дряхлеющая королевская власть за неимением собственных лавров ухватилась за останки императора. Людовик-Филипп приказал их откопать и привезти в Париж. В течение восемнадцати часов откапывали фоб — не отдавал своего героя

Пустынный и мрачный гранит…

Наконец откопали, поставили на корабль, и приехавший за ним королевский сын увел его в море. Остров глядел на уходящий корабль, и, как лай верных сторожевых псов, провожал его со скалистого берега грохот орудий…

В Париже, под сводами церкви Инвалидов, король французов ждал, окруженный своим двором. Пушечная пальба возвестила, что прах Наполеона вошел в столицу Франции. Ждали…

Распахивается дверь, входит гофмаршал с жезлом и возглашает: «Император!» Король и весь двор поднимаются с мест. Боевые сослуживцы великого полководца вносят гроб и опускают в могилу.

«Я желаю, чтобы прах мой покоился на берегу Сены, посреди французского народа, который я так любил». Его желание исполнено… Там на океане осталась

Одна скала, гробница славы.

И все-таки это не последний остров моего рассказа.

Еще об одном хочу упомянуть, и упомянуть с благодарностью. Не остров — островок, даже островочек. Но он

ценен для меня как принимавший мое земное изгнание и дававший гостеприимное прибежище духу моему. Этот островочек среди океана пошлости людской и человеческой злобы — та четвертушка бумаги, на которой четвертый месяц пишу свои воспоминания…

Да, острова всегда имели для меня некое таинственное притяжение.

ГЛАВА 8
Рим

Рим в течение четырех поколений осенял собой нашу семью; сейчас осеняет и пятое.

В первой четверти прошлого столетия поселилась в Риме невестка моего деда-декабриста, княгиня Зинаида Александровна Волконская, рожденная княжна Белосельская-Белозерская. Я ее не видал, она умерла до моего рождения, но имя тетки Зинаиды одно из самых дальних детских воспоминаний. Чем-то удивительно ласкающим звучит это имя, и что-то улыбающееся излучается из него. Улыбка Зинаиды Волконской живет не в одной только семье; она освещает собой первую половину русского девятнадцатого столетия во всех проявлениях художественной жизни. Музыка, живопись, литература, театр — все было ей близко, ко всему она прикоснулась, и если не ко всему с одинаковой силою творчества, то во все вносила одинаковую искренность своей природы и всегда неослабно горячее отношение к людям. Самые высокие имена ее времени сливают свои лучи с лучами ее имени: Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Веневитинов, Брюллов, Бруни, Россини. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в ту обстановку — нравственную, физическую, общественную, — которая была нужна для его работы, для его вдохновения. Так, она приняла и обласкала Веневитинова; бедный больной поэт, погибший во цвете лет и в расцвете таланта, тот, о котором Пушкин писал друзьям: «как могли вы ему дать умереть», был влюблен без памяти в Зинаиду. В Риме она согрела тяжелые дни больного, хмурого Гоголя. Во дворце Поли, ныне не существующем, чтобы прийти ему на помощь, она устроила литературный вечер: Гоголь читал «Ревизора». Билеты были по тому времени дорогие — 20 франков, сбор был полный, но, увы, Гоголь оказался ужасно плохим чтецом. После первого действия половина слушателей покинула зал. С каждым действием публика редела, и только обвораживающей убедительности княгини Зинаиды удалось задержать небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца. Так кончилось неудачное выступление Гоголя. В Рим же повезла она Шевырева, предложив ему быть воспитателем ее сына Александра, и тем спасла его от болезни. Люди искусства любили Зинаиду, чувствовали свое родство с той, которую Пушкин назвал «царица муз и красоты». Не забуду рассказа княгини Марии Аполлинариевны Барятинской, рожденной

Бутеневой, о том, как на вилле Волконской однажды она была свидетельницей встречи княгини Зинаиды с только что приехавшим в Рим Брюлловым. Они долго не видались, и встреча их была таким взрывом радости, таким слиянием общих интересов, иных, высших и более специальных, чем у других, что сразу присутствующие почувствовали, что они отходят на второй план и что они только случайные, посторонние зрители другой жизни…

О Зинаиде Волконской я писал в другом месте, в книге моей о декабристах; не буду повторяться. Скажу, что прелестный образ ее заслуживает и изучения и памяти. Теперь, конечно, изучение нашего прошлого трудно, а тем более такого, остатки которого стерты с лица земли. От княгини Зинаиды оставалось много писем, много альбомов, в которых она записывала и вклеивала. Встают с этих страниц обрывки мыслей, впечатлений, картины житейской обстановки — комнаты, портреты, виды городов, где жили или где проездом останавливались, картины усадебной жизни. Сохнут на этих страницах листья и цветы, когда-то живые, когда-то сорванные. Я видел два таких альбома не так давно в Москве; они были вывезены из тульского имения княгини Зинаиды, Урусова, и положены в какой-то из новых музеев, куда сваливаются остатки культурных пепелищ. По этим случайным обрывкам вряд ли можно будет что-нибудь воссоздать, да и кто бы этим занялся…

Муж Зинаиды, Никита Григорьевич, был человек мягкий, ленивый. В обширном архиве, доставшемся мне от покойного отца, который я когда-то собирался издать, только два письма его рукой. О нем мало что знаю. В семье его звали «L'entiche» (влюбленный), по преданности его жене, которую звали «L'enchanteresse» (очаровательница). О Никите Григорьевиче расскажу забавный случай из его жизни. В 1808 году Александр I послал его с письмом к Наполеону. Император французов принял его доброжелательно, отпустил милостиво. На лестнице нагоняет его Дюрок и передает футляр: «Это на память от его величества». Волконский увидал перстень с маленьким бриллиантом. Он нашел, что подарок не достоин посланца русского императора, и при прощании отдал его сопровождавшему его жандарму: «Возьми на память от русского офицера». Жандарм стал хвастать, дело огласилось, дошло до Наполеона. Наполеон поручает своему послу в Петербурге, Коленкуру, жаловаться на непочтительное обращение с его подарком. Александр I вызвал Волконского, спросил, все ли он ему рассказал про свою поездку. Тот отвечал, что ничего не утаил, и пересказал, что было, что говорилось. «Ну а после еще ничего особенного не было?» — спросил государь.

Тут вспомнил Никита Григорьевич про кольцо и понял, что вопрос государя к этому относился и что ему, значит, история кольца известна. Но в Петербурге история показалась не так страшна, как в Париже. Государь сказал: «Оказывается, вы чуть было не поссорили меня с Наполеоном. Это было неосторожно с вашей стороны. В конце концов вы не были неправы в этой истории. Не будем больше говорить о ней». Этот рассказ передал о своем отце мой дядя Александр Никитич Волконский, в «Русском архиве» (1874 г., кн. 1). Приобретенная Зинаидой в Риме вилла, ставшая впоследствии столь известной «вилла Волконская», расположена на земле, по преданию, принадлежавшей императрице Елене, матери равноапостольного Константина. В те времена она стояла на самом краю города, и сзади осенял ее великолепный фасад базилики св. Иоанна Латеранского, в то время как из далеко расстилавшейся Кампаньи тянулись к ней и входили в самый сад старые своды римских акведуков… Теперь уже не то. Огромные «доходные дома» окружают виллу со всех сторон; фасад базилики виден только из второго этажа, и вместо дымчатых далей римской Кампаньи и голубых очертаний Албанских и Сабинских гор — обычные картины итальянских городских верхов: крыши и между дымовыми трубами висящее белье, олеандры, герань, перистые бамбуки, герань, олеандры и белье… Под сенью итальянских сосен и римских развалин, украшавших ее сад, княгиня Зинаида собрала вещественные памятники того, что ей было дорого на родине и на чужбине, — на первом месте бюст императора Александра I, поставленный на гранитной колонне из обломка Александровской колонны, стоящей перед Зимним дворцом. Все это осталось; «l'allee des souvenirs» («аллея воспоминаний») осталась как была, но все это уже не то.

Ошибочно думают, что места, нам когда-то близкие, сами по себе имеют лицо; вот лицо человека светится и в доме, и в деревьях, и с исчезновением человека место меняет свое лицо. Но Зинаиду Волконскую помнят, и в то время как в Москве, в своей брошюре об истории Музея императора Александра III, профессор Цветаев ставит имя ее во главу угла нового здания, первая мысль о котором принадлежит ей, в Риме одну из улиц, прилегающих к вилле, собираются наименовать via Wolkonsky. Что в Риме ее помнят, это естественно. Она делала много добра; беднота римская ее боготворила. Она умерла от простуды, после того как под воротами в холодное зимнее утро сняла теплую юбку, чтобы отдать бедной женщине. Последние ее годы были отданы делам веры и благотворительности. Она приняла католичество. В Риме не запомнят такого стечения бедноты, как на ее похоронах. Прах

ее покоится в церкви св. Викентия и Анастасии, что у фонтана Треви, в первом приделе с правой стороны; там же похоронены муж ее, князь Никита Григорьевич, брат декабриста, и ее сестра Власова…

Около этого фонтана и я имел свою квартиру последние годы перед войной. Дивный фонтан, целый мир воды и мрамора. Фасад дворца разделан колоннами, которые точно вырастают из диких скал. Посреди этих скал огромный мраморный Нептун выпускает морских коней; они дыбятся и плавчатыми своими копытами рассекают воду, которая брызжет из-под них. Тут же выскакивают или кидаются в воду мраморные тритоны. Перед этой группой из воды дыбящихся лошадей, в воде копошащихся тритонов — большая, ниже мостовой, полукруглая лохань, где вода, уже утихшая, лежит спокойная, и гладь ее нарушается лишь кругами, идущими от мраморных коней к мраморному берегу. Сколько движения в недвижном мраморе, сколько струйчатого движения в воде; в Нептуне сколько приказания, в воде сколько послушания. Есть послеобеденный час, когда рядом стоящий дворец Кастелани, окрашенный в красный цвет, сияет горячим отблеском солнечного света; и посмотрели бы вы только, как играют переливами и пена, и брызги, и рябящая гладь. В этом месте всегда стоит прохладный пенистый шум; но не весь шум, на какой способен фонтан: мешает стук экипажей и общий шум городской. Госпожа де Сталь говорит, что если бы фонтан Треви умолк, то большое молчание воцарилось бы в Риме. Это поэтический образ, но не реальный. Я скажу наоборот: я хотел бы, чтобы на две минуты в Риме воцарилось молчание, дабы хоть раз услышать весь шум фонтана Треви…

Совсем близко от фонтана Треви я жил. Однажды проводил лето в Риме. Жарко римское лето. Посылал дочку швейцара к фонтану; возвращалась с холодным фиалом ключевой воды; я разбавлял марсалой… Иногда в жаркий день садился на выступ скалы и в прохладной тени и прохладном шуме читал газету…

В тридцатых годах жил в Риме и старший брат моего деда-декабриста, князь Николай Григорьевич, получивший после смерти своего деда фамилию Репнина. Его жена, княгиня Варвара Алексеевна, была рожденная графиня Разумовская, внучка гетмана. Что-то красивое, сказочное в их жизни. Блеск и грохот наполеоновских войн. Жена сопровождала мужа и под Аустерлицем подбирала раненых на поле сражения. Он был русским представителем в Касселе при Вестфальском короле, брате Наполеона. Любопытно, что в это время был французским посланником отец Виктора Гюго и дети Репнины играли с будущим поэтом. После взятия Берлина нашими войсками

Николай Григорьевич губернаторствовал в столице Пруссии. В 1813 году он вице-король Саксонии; через два года — генерал-губернатор Малороссии. Репнины жили широко; они были столь же расточительны, сколько щедры, и столь же щедры, сколько беспечны. После отъезда их из Касселя было найдено в комоде забытое княгиней жемчужное ожерелье. Размах их барского житья, сказочные эпизоды его карьеры, как губернаторствование в Берлине, королевствование в Дрездене, делают из Репниных какой-то отклик восемнадцатого века, последнюю вспышку разумовской сказки… Но этот блеск в начале тридцатых годов подернулся туманом. Был подан на Репнина донос о присвоении казенных сумм, предназначенных на полтавский институт. Заведение это было любимым детищем Репниных; оскорбленный клеветой, Николай Григорьевич подал в отставку и уехал со всем семейством в Италию. В 1842 году вернулись Репнины в Россию, в свое малороссийское имение Яготино. Под гнетом доноса и унизительной опеки прожил он остаток дней своих в ожидании конца тяготевшего над ним следствия. Но он его не дождался, и через два месяца после его смерти полная невинность его была доказана и официально засвидетельствована. Это был характер прямой, сильный, благородный.

В Италии они жили в Фраскати, под Римом, в великолепной вилле Мути, в которой семьдесят лет спустя жил мой брат Александр со своей семьей. Здесь, на этой вилле, произошла помолвка второй дочери Репниных, Елизаветы Николаевны, с Павлом Ивановичем Кривцовым. Брак, по тогдашним понятиям, в глазах родителей не был блестящий, в особенности для любимой дочери Лили, которую мать называла Прек (сокращенное — «прекрасная»). Но согласие было дано, и свадьба была отпразднована во Флоренции, куда семья Репниных выехала из-за холеры и где проживала в красивом Palazzo Torrigiani. Родившаяся от этого брака дочь, Ольга, вышла замуж за двоюродного брата моего отца, Николая Михайловича Орлова; его мать, Екатерина Николаевна Раевская, была сестрой моей бабушки Марии Николаевны. Ольга Павловна Орлова сейчас, пока пишу эти строки, живет в Москве у своих дочерей, Екатерины Николаевны Котляревской и незамужней Елизаветы Николаевны. Ольге Павловне 84 года; она всем сознанием своим живет на поверхности сегодняшнего дня, а глубокими корнями неувядающей памяти — в далеком прошлом. Все, что на этих страницах я писал, я носил ей и читал. В маленьком особняке в Никольском переулке (№ 13), в уплотненной, нагроможденной гостиной или на полуразвалившейся, но все же тенистой зеленой веранде в течение многих вечеров читал я ей и членам ее семьи.

Заношу эти минуты в число светлых воспоминаний того времени и с признательностью за привет и внимание и указания ясной безошибочной памяти… Так с низкого деревянного крыльца маленького особнячка в Никольском переулке восхожу мыслями к высоким каменным террасам виллы Мути и необъятным горизонтам римской Кампаньи…

Этой виллой Мути помечено много писем княжны Варвары Николаевны Репниной к моей бабушке Марии Николаевне в Сибирь, в Петровский Завод. Проникали от времени до времени лучи итальянского солнца в сибирское изгнание: письма из виллы Мути от княжны Варет, как ее звали; с виллы Волконской от Зинаиды — ноты, цветочные и огородные семена; из Неаполя от матери Марии Николаевны, Софьи Алексеевны Раевской, засушенные листья, сорванные на могиле Вергилия. Там же, в Петровском Заводе, однажды был получен литографированный портрет Зинаиды, прелестный портрет работы какого-то Росси — кисейный чепец, большие раскрытые глаза; и под портретом арка римских развалин, и под аркой — римская волчица…

В те же годы бывала в Риме и сестра декабриста, княгиня Софья Григорьевна Волконская. О ней я так много писал в своих «Декабристах» что здесь уже ничего не могу нового рассказать. Повторю лишь характерный эпизод, рисующий суетливость и скупость ее, — две основные черты этого удивительного в нашей семье явления. Отъезжая в Россию, она просила брата своего Николая Григорьевича сохранить до ее возвращения в Рим сундук с некоторыми ее вещами, которые ей в России не понадобятся. Сундук этот Репнин таскал за собой по Италии в течение года; наконец он пришел в такую ветхость, что камердинер однажды доложил, что надо сундук светлейшей княгини вскрыть. В нем оказались… дрова. Егозливая непоседа, «моя проворная, летучая путешественница», как звал ее родной отец, она не была из постоянных римских жительниц. Постоянство вообще не было в ее характере, за исключением привязанности к милой, уродливой своей горбатой компаньонке, итальянке Аделаиде. Вместе объехали они Европу, вместе побывали и в Иркутске…

В сороковых годах поселился в Риме сын ее, отец моей матери, князь Григорий Петрович Волконский, как состоявший в русской миссии при папском престоле. Кроме этой должности состоял он заведующим русской Археологической комиссией в Риме и попечителем проживающих в Риме русских художников. Приехали со своими родителями и мать моя, тогда маленькая девочка, и ее брат Петр, на пять лет моложе ее. Они жили в Palazzo Salviati на Корсо. Здесь прожила моя мать всю свою юность; отсюда шестнадцати лет выехала в первый раз в Россию и

здесь восемнадцати лет была помолвлена в 1859 году. В 1906 году, уже десять лет после смерти моей матери, гуляя по Корсо, мы с отцом зашли однажды в этот дворец, и отец показал мне на лестнице площадку, где они с матерью встретились в первый раз…

Мой дед с материнской стороны, князь Григорий Петрович Волконский, был любопытный тип, яркий представитель общества того времени. Воспитывавшийся сперва в Ришельевском лицее в Париже, он вернулся в Петербург как утонченный цвет тогдашней культуры. Но вместе с тем на нем, как редко на ком, сказалось то странное воздействие, которое оказывало в России воспитание. Воспитание всегда вырывало у нас человека из почвы и, смотря по положению его, отчуждало его либо от среды, либо от родины. Григорий Петрович, как многие в то время, был тем менее русский, чем более культурен. В своих записках известная фрейлина А.О.Смирнова, друг Пушкина и Гоголя, говорит про моего деда, что он «иногда оказывал презрение ко всему тому, что называется русскою литературой». Хотя тут же она прибавляет: «Может быть, он и прав в настоящий ее период развития или, вернее, застоя». Но к этому надо прибавить и личные свойства характера. Он был яркий пример того, что называется у нас «богема». С сильной художественной складкой, исключительно одаренный в музыке, обладатель редкого голоса, он не был создан ни для чего, что требует корней; он был не нужен родине, как остался не нужен своей семье. Он разошелся с бабушкой и жил вдали от всех, в Одессе и Аккермане. Обворожительный в обхождении с посторонними, он был тяжел в семейном кругу; он был, что англичане называют — street angel (уличный ангел). Отзывы современников (Смирнова, Булгакова, Никитенко) проникнуты уважением к высоким его качествам обходительности и человечности. Но дома он становился с каждым годом тяжелее благодаря невыносимой педантичности своей. Впоследствии, уже расставшись с семьей, он издали продолжал распространять педантичность своих суждений на оценку тех или иных семейных осложнений, правительственных мероприятий, событий европейской политики. Он писал на больших листах бумаги синим карандашом, четким стоячим почерком; сильно подчеркивал слова. Впоследствии, просматривая архивы родителей, я увидел письма деда Григория Петровича и ужаснулся этому нагромождению доводов, примеров, цитат, нравоучений. Но в детстве хорошо помню, когда с почтой приходил большой толстый конверт, помню, как устало поднималась рука бабушки распечатывать его, как устало глаза переходили на мать, как будто говорили: «Опять письмо». Еще

тяжелее, чем читать, было, конечно, отвечать, а отвечать надо было… Это был странный характер…

Странности в нашей семье идут от прадеда моего Григория Семеновича, отца декабриста. Дочь его, Софья Григорьевна, была матерью Григория Петровича, о котором идет речь. И об отце и о дочери я много рассказывал в книге «О декабристах». Кто познакомится с их портретами, тому наличность странностей в потомстве покажется естественной. В отличие от своей матери дед мой был необыкновенно щедр и расточителен. Он никогда не покупал поштучно, всегда дюжинами. Известный в Риме книгопродавец Шпитевер на Piazza di Spagna говорил мне со вздохом: «Таких клиентов больше нет, каким был ваш дедушка…»

Последние двадцать лет жизни мой дед прожил вдали от семьи. Он подпал под влияние компаньонки своей матери, некой Лидии Александровны Ваксель. Я видел ее в 1881 году, когда после кончины бабушки в Риме мы с матерью поехали к деду в Ментону. Она была очень некрасива и замечательно умна; могла быть приятна и блестяща в разговоре. Она совершенно забрала в руки слабого семидесятидвухлетнего старика и через год после смерти бабушки женила его на себе. Через год он умер, и она наследовала именье в Бессарабии и все его движимое имущество. Она проживала в Одессе, и я кое-что интересное узнал о ней довольно странным окольным путем. Верстах в восьми от нашего бывшего имения Павловка Тамбовской губернии жил помещик Яков Иванович Бунин. Когда-то исправник в нашем уезде, он в восьмидесятых годах был уже генералом и вдруг получил назначение на пост полицмейстера в Одессе. Там он и его жена сошлись со вдовой моего деда. Оказывается, она терпеть не могла членов своей семьи и решила, что после ее смерти имение и вся движимость должны перейти к Волконским. Она оставила завещание в пользу брата моей матери, князя Петра Григорьевича. Но дядя мой умер раньше нее; сыновья его по закону наследовать не могли, и имение силою вещей должно было перейти к законным наследникам покойной. Таковых было два брата ее. Один был полковником, служил на Кавказе; другой был горький пьяница и служил маркером в каком-то кафе в Вене. Когда его разыскали на том чердаке, где он жил, он сперва испугался приходу официальных лиц, но когда ему объяснили причину этого посещения, что дело идет о вводе его в большое наследство, он испытал такое душевное потрясение, что тут же умер. Единственным наследником остался кавказский полковник… Вот что мне рассказали генерал Бунин и его жена. Я в то время занимался собиранием семейной старины, портретов и пр. Я знал, что у деда было много вещей, для постороннего

человека не ценных, но для меня очень ценных; я написал этому полковнику, прося уступить мне, хотя бы за деньги, то, что он признает возможным. Письмо мне было возвращено «за смертью адресата»…

В Palazzo Salviati на Корсо провела моя мать свою молодость; она жила Италией, она Италией дышала, и навсегда Италия осталась дыханием ее жизни. Зимою 1859 года приехал в Рим мой дед-декабрист Сергей Григорьевич с бабушкой Марией Николаевной и с моим отцом. Только за три года перед тем вернулся дед из Сибири. Наши изгнанники, вернувшиеся из тридцатилетней ссылки, в Риме попали в родственную среду. Княгини Зинаиды уже не было в живых. На вилле Волконской был хозяином сын ее Александр Никитич. Он унаследовал привлекательные черты характера своей матери — искренность, теплоту душевную и необыкновенную мягкость в отношениях к людям. Покойный П.И.Бартенев, издатель «Русского архива», называл его «одним из лучших людей русской земли». От матери же своей унаследовал Александр Никитич доброе отношение к своему дяде-декабристу и его семье. Таким образом, двух родных племянников нашел в Риме декабрист Волконский: сын брата Никиты, Александр, жил на вилле Волконской, сын сестры Софьи, Григорий, жил в Palazzo Salviati. Сын декабриста, князь Михаил Сергеевич Волконский, женился на дочери своего двоюродного брата Григория Петровича, княжне Елизавете Григорьевне. Это были мои родители. Свадьба состоялась в 1859 году в Женеве, 24 мая, в день рождения моей бабушки с материнской стороны, княгини Марии Александровны Волконской.

Так кончается тот Рим, которого я не видел, но который знаю по рассказам, по блеклым фотографиям и по многочисленным акварелям и рисункам, разбросанным по альбомам наших бабушек. То были последние годы папского Рима. Еще развалины римские, не окруженные решетками, сливались с уличной жизнью, и под сенью их отдыхали в пестрых передниках с белою наколкой в черных волосах смуглые крестьянки с корзинами овощей или кувшинами воды. Фонтаны, не огороженные, поили и людей и лошадей. Еще катались в своих каретах красные кардиналы; еще с высокого балкона собора Св. Петра папа благословлял на площади коленопреклоненное народонаселение; еще шумел, кривлялся и плясал на пестрых улицах разноцветный карнавал; еще, раз в год, собирало на Корсо праздную толпу варварское зрелище прогоняемых сквозь строй и подстрекаемых каленым железом лошадей. Все это ушло, но все это живет в памяти даже тех, кто этого не видел, и живет в альбомах наших бабушек. У кого есть они? У кого еще уцелели? Вы знаете этот, на

вечернем небе, купол Св. Петра, и эту лукавую крестьянку, разговаривающую с монахом, и этого читающего молитвенник кардинала, и этого пастушка со свирелью, меж развалин пасущего своих коз… Многие альбомы. На их страницах Италия в России и Россия в Италии. Тут и Брюллов, и Бруни, писавшие итальянских крестьянок, монахов и пастушек, тут и итальянцы, писавшие наших бабушек и дедов. У кого есть такие альбомы, берегите их. У меня был портрет матери, сделанный в первый год ее замужества римским живописцем Каневари. Прелестный карандашный портрет; он сейчас украшает канцелярию уездного наркомпроса в городе Борисоглебске Тамбовской губернии…

Я упоминал в другой главе, что в первый раз я приехал в Италию, когда мне было 12 лет. Зиму 1872/73 года мы проводили во Флоренции. На Рождество мы поехали в Рим, к бабушке. Она жила у сына своего, брата моей матери, князя Петра Григорьевича Волконского. Мой дядя был женат на княжне Вере Александровне Львовой, известной красавице. У них в то время только что родился их третий сын, Петр; старших звали Григорий и Александр. Дядя мой, Петр Григорьевич, был человек не банальный. Странности трех поколений вылились в четвертом с новой своеобразностью. Любопытно проследить эволюцию семейных странностей. Старик Григорий Семенович, отец моего деда-декабриста и его сестры Софьи Григорьевны, был добродушный чудак; малообразованный, с большой склонностью к музыке, чисто русский тип — балагур, щедрый, с сильно развитой семейной жилкой. Дочь его, Софья Григорьевна, ничего не взяла от благодушия своего отца, кроме блестящего юмора, и то с сильной примесью ядовитости, она была полная противоположность отцу своему, но в своеобразии, в живописности, с какой это самое различие сказывалось, было отцовское наследие.

Еще отличительная черта того поколения — отсутствие самонаблюдения, в отношениях с людьми большая непосредственность; им было чуждо то психологическое копание в самом себе, которое так развилось в последующих, нам современных людях. Благодаря этому они запечатлевались в памяти своих современников с большой горячностью, с сильной яркостью. Сын Софьи Григорьевны, Григорий Петрович, отец моей матери и дяди Петра Григорьевича, взял от деда его музыкальные склонности и ничего от его семейных добродетелей. Он преувеличил до последних крайностей кочевую струну в характере своей матери и, можно сказать, расплескал в космополитической богеме всю русскую самородочность своего деда. Но он сберег его щедрость и ничего не взял от материнской

скупости. Сын его, мой дядя Петр Григорьевич, по прозванию Питер, явил сочетание всего, что было в трех предшествующих поколениях, но прибавил к этому необыкновенную напряженность умственной деятельности в области философии. В нем было два человека. Один — легковесный, светский, нарядный, мелочной и немножко смешной в чрезмерной заботливости о внешности своей. Это был тот Питер, которого знали все: в сером цилиндре набекрень, в сером пальто, перетянутом как узкий сюртук, с тонкими усами, как у Наполеона III, и с общей выправкой французского офицера в отставке. Но был другой Питер, которого знали немногие: Питер — философ, умственный работник, с огромной начитанностью и необыкновенной памятью. К сожалению, расшатанное здоровье и совсем неуравновешенный характер исключали в нем возможность какой-либо творческой деятельности. Щедрость отцовскую он преувеличил до пренебрежения деньгами и в четвертом поколении осуществил возврат к московско-русскому уклону в форме несколько слащавого славянофильства; аксаковскую «Русь» он читал, как сам выражался, «от доски до доски»…

Впечатления римские в тот первый приезд были не так сильны, как можно было ожидать, — слишком я полюбил тогда Флоренцию. Но помню, что поразило меня, двенадцатилетнего: как много римского я уже знал по книжкам, по фотографиям, по альбомам, по копиям картин, висевшим у нас в Петербурге. И Колизей, и Форум, и фонтан Тритона, и колоннады собора Св. Петра — все это было знакомо. И перуджиниевское «Воскресение» в Ватикане я видал в спальне матери, и в станцах Рафаэля я узнал «Освобождение Петра из темницы», которое висело в гостиной бабушки. А когда я вошел в собор Св. Петра — был послеобеденный час, — я воскликнул: «Ах, вот тот самый луч солнца!» В гостинице матери висела прекрасная акварель, изображавшая внутренность собора, и с детства, не бывши в Риме, я знал луч солнца, который знают все, кто бывал в соборе Петра в этот послеобеденный час: из высокого левого окна, в глубине собора, он падает, косой, над алтарем…

Внутренность собора, как ни странно, не поражает огромностью своей. Очевидно, есть какая-то математическая тайна в размерах его, но мы воспринимаем их не воображением, а разумом: только когда мы узнаем, как он велик, тогда мы и ощущаем его величину. Помню, рассказывала бабушка, один генерал приказал своему полку, уж не знаю для какой церемонии, отправиться в собор и там ждать его. Приходит в назначенный час — церковь пуста; прошел дальше — весь полк оказался в одном

из боковых приделов. В середине собора, под самым куполом и над самою могилой апостола Петра, стоит алтарь, над ним, на четырех витых колоннах, сень. Сень эта совершенно незначительна размером в общей картине архитектурного пространства, а между тем витые колонны ростом равны высоте Зимнего дворца. В деревне, в Павловке, я отмерил от крыльца вверх по аллее расстояние, равное внутренности собора Св. Петра; в аллее поставил сбоку дороги камень и смотрел, когда кто-нибудь подъезжал, — как много времени нужно тройке, чтобы доехать из глубины собора до входных дверей, от того места, где, поддерживаемый четырьмя святителями церкви, под косым лучом высится престол апостола Петра. Раз, много лет позднее, я очень сильно ощутил громадность собора Петра. Я был на двадцатипятилетнем юбилее Льва XIII. Не знаю, сколько десятков тысяч народу полнило собор. Помню впечатление громадности, полученное не путем зрения, а путем слуха. Папу вносят из внутренних покоев Ватикана; его встречали кликами. И вот я помню дальность этих кликов; я помню, как они увеличивались, точно улицами вливались они все ближе. Помню, как давно длились клики, а еще не было видать его. Помню, как наконец заколыхались вдали, над морем людским, рипиды с павлиньими перьями и как появился несомый на плечах, на престоле сидящий, маленький, беленький, в митре, подвязанной тесемочкой, сгорбленный, но с радостным, сияющим лицом, высоко и широко благословляющий Лев XIII. Клики росли и разливались под сводами. Я оказался среди славян; вокруг меня кричали: «Живио!» Но сколько тут было земных наречий! И все сливались в одном. Какая другая идея на земле может соединить столько «языков» в одном чувстве?.. Лев XIII не только благословлял; он иногда улыбался и приветствовал рукой. Трудно передать прелесть этого движения — когда пастырь благословляющий уступал место человеку, благодарящему за привет. Преемник его, Пий X, не любил, чтобы его встречали кликами, — он переставал благословлять и клики умолкали.

Второй мой приезд в Рим был осенью 1881 года, когда мы с матерью приехали к умирающей бабушке моей. Об этом говорю в первой главе следующей части моих воспоминаний. Скажу о некоторых людях, которые вокруг умиравшей бабушки делили наши тревоги и заботы.

Старый друг семьи нашей, доктор Панталеони, был маленький, иссохший человек, умный, едкий и шутливый. В эти трудные минуты он выказал много преданности и был сильной духовной поддержкой моей матери. У него было три сына. Старший, Маффео, был впоследствии выдающимся членом

парламента; второй, Гуидо, был инженером и уехал в Америку; третий, Рауль, кажется, был адвокатом. Я в те дни, конечно, мало из дому выходил, но сыновьям доктора Панталеони я обязан первым впечатлением старого Рима в лунную ночь. Чтобы развлечь меня, они однажды поздно вечером потащили меня на прогулку. Мы обошли Колизей и Форум, и круглый храм Весты, и берег Тибра, и старый «мост четырех голов». Неизменные за сотни лет очертания высились в резкой смене лунного света и лунных теней. Трепетно блестела поверхность Тибра, и блестко трепетали меж хмурых стен листы лавров. Улицы каменно молчали и только возвращали нам каменный звон наших шагов. На лоне темного неба, в холодном свете луны, жгуче мерцали знакомые звезды… О неповторимая неуловимость первых впечатлений!..

Была при бабушке в качестве компаньонки некая Молли, дочь управляющего Лильенкампфа. Она была милый человек, прямой характер, с ясным суждением и безошибочным благородством оценки. Она была слаба грудью и всю краткую свою жизнь была страдалицей. Имя Молли звучит далеким приветом из глубины безвозвратно минувшего. Мой брат Григорий, большой в детстве шутник, всем дававший прозвища, прозвал ее почему-то «Пейпус». Изводил он ее до невозможности; она, красная от смеха и кашля, задыхаясь от одышки и восторга, только повторяла: «Gra?licher Junge!» (Ужаснейший мальчишка). Молли недолго прожила; я получил известие о ее смерти, когда был на Мадере…

Делила с нами тяготы тех дней двоюродная сестра моей матери, княгиня Боргезе, по прозванию Lele. Мать ее, графиня Аппони, была сестра моей бабушки, о ней говорю в следующей главе. Lele была одно из самых прелестных цветений человеческой природы. Более нежели красивая, — она была прекрасная; ее голова Минервы, чудный профиль, крепкий рот, сияющие глаза — все становилось подробностью, когда она говорила: искренность, свежесть, непосредственность ее оживления заполняли все ее существо. Это было сияние души, насквозь пронизывавшее внешнюю оболочку. Судьба подвергла ее жестоким испытаниям. Семья Боргезе — владельцы знаменитого дворца с знаменитой картинной галереей, владельцы знаменитой виллы Боргезе, куда весь Рим ездит гулять. Из их семьи был папа Павел V; он воздвиг фасад собора Св. Петра, и над портиком начертано имя их семьи. И вот с высоты богатства и благополучия, вследствие каких-то неудачных денежных оборотов ее мужа, князя Павла Боргезе, Lele очутилась почти в нищете. Дворец пошел за долги. Они переехали в Пизу, здесь ее мать, сестра моей бабушки, в течение нескольких лет на свои небольшие средства содержала многочисленную семью. Lele с

мужеством переносила трудности положения, рисовала веера и продавала… Впоследствии старший ее сын, Сципион, женился на очень богатой дочери герцога Феррари и выкупил дворец. Война была для моей тети Lele новым душевным испытанием: дочь русской матери и отца-венгерца, мать сыновей-итальянцев, она имела одну дочь за французом, другую за венгерцем. Она умерла во второй год войны…

Вот образы, которые проходят предо мной, когда вспоминаю двенадцатидневное пребывание в Риме у постели больной бабушки в ноябре 1881 года.

После того я в Риме часто бывал, а последние десять лет перед войной и совсем там жил. Отец уже не выносил петербургского климата и поселился в Риме. Я жил сперва с ним и сестрой, потом на отдельной квартире, которая осталась за мной и посейчас. Много в Риме изменилось, и изменился сам Рим. Много старых улиц не существует, много старых дворцов снесено, проложены новые, широкие, на Италию непохожие улицы; мутно-желтый Тибр скован новой мраморной набережной, развалины обчищены, обнесены решетками, точно перенумерованы; трамваи гудят по узеньким улицам старого Рима, а новый Рим, бесцветный, расползается пыльными своими бульварами и однообразными домами с зелеными ставнями… Изменился, меняется и будет меняться Рим, и все-таки всегда останется — Рим. Как среди переживаемых потрясений не меняются времена года, страны света, так среди перемен, испытываемых городом, останутся неизменны и Колизей, и Форум, и Пантеон, и купол Св. Петра, и желтый Тибр, и над ним круглый замок Св. Ангела, и все церкви, колокольни, многочисленные ворота, из кипучего города ведущие в молчаливую, пустынную Кампанью; останется суровый, гладкий фасад Капитолия, круто свисающий над Форумом, останется таинственная изрытость развалин, блеск и плеск, и шум, и брызги играющих фонтанов. Останутся на нижних ступенях высокой лестницы Trinita dei Monti пахучие корзины цветов. А вечером, с верхних ступеней, останется всегда развертывающийся над городом пожар закатного неба и направо, на золоте его, проступающий ряд зонтообразных сосен. Останутся на горизонте тонкие очертания Монте Марио и закатной пылью опыленный единственный в мире купол. И всегда останется этот римский воздух, в котором и степь, и море, и горы, и, наконец, невероятность того римского слияния, в котором сочеталось все это наследие веков.

Скажу о некоторых лицах, память о которых неразрывна с моим римским пребыванием.

Князь Виктор Викторович Барятинский был мой приятель с шестнадцатилетнего возраста. Наши матери были подруги детства. Княгиня Мария Аполлинариевна Барятинская, рожденная Бутенева, провела детство и юность в Риме, как и моя мать; как и мать моя, говорила по-итальянски, как и мать моя, знала итальянское искусство в совершенстве. «Княгиня Кокона» (так звали ее, потому что она родилась в Константинополе и кормилица ее, гречанка, так ее звала) была женщина выдающихся качеств ума и сердца.

Она была редко образованна, отличная музыкантша, прекрасно рисовала. Кто знал ее, не забудет ее обходительности, отзывчивости, удивительного зеленого блеска ее глаз и серебряного блеска волос, которые начали серебриться с шестнадцатилетнего возраста. Княгиня Барятинская умерла в 1906 году в Уши, около Лозанны, у своей золовки княгини Леониллы Ивановны Витгенштейн; я ездил из Рима на ее похороны в Женеву.

Не могу не сказать два слова по поводу упомянутой княгини Витгенштейн, рожденной Барятинской. Это был удивительный экземпляр человеческой расы. Кажется, ей было под девяносто лет, когда она в первый раз обратилась к зубному врачу. Бодрая, красивая, умная, она была духом моложе всех молодых, окружавших ее старость. Когда ей минуло сто лет — это было в первый год войны, — она получила телеграммы от папы, от императора Николая II, от Вильгельма — вся Европа, враждующая, союзная, нейтральная, сошлась на ее столе.

Мой товарищ детства Виктор Барятинский был человек редких дарований и редкой, удручающей непроизводительности. Его характер был положительно врагом его талантов. Это был один из самых музыкально одаренных людей, каких мне пришлось встретить. Музыка, как лава, исходила из него, когда он садился за фортепиано и был в духе, что бывало не всегда. А то бывало и так: поиграет, поиграет, вдруг вскочит, ладонью загасит свечу, и кончено. У него было совсем своеобразное туше, обусловленное кроме его музыкальной природы еще и особенным строением руки: пальцы его были крепки, сильны, но концы пальцев — толстые, мягкие, как снабженные подушечками. Круглота его звука была совсем исключительная. Но музыка находила на него волнами. Иногда он работал по четыре, пять часов в день, запоем в продолжение нескольких недель, а иногда наступали месяцы музыкальной пустыни. Он играл некоторые фуги Баха, трио Чайковского, сонаты Бетховена как первоклассный пианист. Не одна музыка действовала в нем волнами; весь его характер был такой. Приветливый,

обходительный в формах обращения, он бывал угрюм, нелюдим, неприятен.

Хмурые дни этого непостоянства смягчались и освещались солнечным лучом — это его жена, княгиня Софья Николаевна, рожденная Каханова. Всегда сияющая, всегда приветливая, всегда всем интересующаяся — ее барометр показывал всегда «ясно». И не всегда бывало это ей легко.

Она была, несмотря на цветущий вид, слабого здоровья, иногда месяцами лежала на кушетке. Но, кажется, никто из посещавших ее, кроме доктора, не замечал, что она больна. Она разливала жизнь вокруг себя. Она имела настоящий дар смеха, не только для себя, но и для других; вокруг нее царил смех, и хороший, здоровый, благородный смех. Как жалко бывало видеть ее больной. Как несправедлива природа, когда уменьшает жизненность тех, кто сам так много жизни дает другим. В далькрозовском моем увлечении, знаю, что не раз она разбивала глупые предрассудки и пошлое недоброжелательство людей непонимающих. А Виктор Барятинский раз нарочно поехал в Париж, чтобы видеть демонстрацию Далькроза. Помню впечатленье. Суровый, насмешливый Виктор говорил, что он не мог удержаться от слез, когда видел, как дети дирижируют хором. Они жили в Palazzo Chiggi, на углу Корсо и Piazza Colonna. Князь Киджи был им родственник как женатый на дочери той княгини Витгенштейн, о которой упоминал. Милый человек сын князя Киджи Франческо; он был специалист по орнитологии и состоял в переписке с нашим профессором Кайгородовым. Квартира Барятинских была одна из красивейших в Риме. Высокая гостиная со сводами,

В высокой галерее
Портретов длинный ряд.

Как хорошо у них звучала музыка. В год, когда была художественная выставка в Риме, Виктор Барятинский пригласил к себе московских синодальных певчих, певших тогда в больших концертах Римской филармонии. Они имели тогда огромный успех; я не помню ни в одном другом концерте, чтобы от конца одного номера до начала другого не смолкали рукоплескания. У Барятинских в большой галерее это было еще красивее и, конечно, приятнее, чем в концертном зале. К ним же привел я, чтобы порадовать больную княгиню, наш квартет Чупрынникова, Сафонова и Кедровых, которых я в тот год выписал, пригласив петь у меня в квартире. Лишенная радостей, много лет не бывшая в России, как она наслаждалась… Но и больная, она помогала

другим. Во время войны она в Швейцарии занималась русскими пленными и беженцами; и не раз в деревне я получал от нее поручения сообщить родственникам такого-то, там-то, что он жив и находится там-то.

В последний раз видел их (кажется, упоминал об этом) в Швейцарии, над Глионом, за несколько недель до войны, в той самой гостинице, где видел бельгийскую королеву. Вскоре после того он заболел: ему пришлось отрезать ногу; он после операции недолго прожил…

Не могу не упомянуть мою тетку, сестру моего отца, Елену Сергеевну Рахманову. О ней, молодой, очаровательной, говорю подробно в моих «Декабристах». Родившаяся в Сибири, по первому браку Молчанова, по второму Кочубей, она много живала в Италии, больше в Неаполе и Флоренции. Последние же лет пять перед войной она приезжала в Рим. Уже пятнадцать лет она была в параличе, без ног, без руки, без глаза. Ее катали в кресле. И несмотря на то, что так искалечила ее судьба, она сохранила и бодрость духа и прелесть обхождения, ту прелесть, которая делала ее кумиром всех знавших ее, от Иркутска до Неаполя. Она приезжала с целым штатом из своей полтавской деревни; привозила с собой двух хохлушек, Гапу и Мотрю, которые в душегрейках своих и пестрых платочках прогуливались по улицам римским, нимало не смущаясь необыкновенностью своего облика. При тете моей состояла младшая дочь ее, Елена Александровна Рахманова. Как Антигона на своем посту, стояла она за ее креслом, оберегала, направляла жизнь своей матери.

Елена Сергеевна останавливалась в том самом пансионе Альбини, о котором упоминал в одной из предыдущих глав. Пансион этот помещался в том доме, где православная русская церковь, — на Piazza Cavour, palazzo Menotti. Это было своего рода русское подворье в Риме; там соблюдались праздники, обряды и обычаи. Елена Сергеевна представляла странное сочетание широкой души, горячего сердца и очень узкого кругозора. Дочь декабриста, она была почти черносотенных убеждений. Но убеждения эти были теорией, а практика диктовалась безграничной широтой ее всеобъемлющей души. Горе людское и людская радость стекались к ней, находили в ней горячий отклик без всякого вмешательства расхолаживающих убеждений. Елена Сергеевна заслуживает подробного описания, но ее образ, своеобразный, самобытный, не укладывается в римские рамки, где она бывала наездами. Настоящая ее обстановка — ее малороссийская деревня, та самая Вейсбаховка Полтавской губернии, где она скончалась 23 декабря 1916 года. Когда-нибудь в другой раз расскажу о ней еще.

У Елены Сергеевны, у «тети Нели», как ее звали, собирались все родственники, жившие в Риме или приезжавшие. На вилле Волконской уже не было сына Зинаиды, Александра Никитича. Он умер в 1878 году. Детей у него не было; он усыновил дочь своего приятеля генерала Ильина. Надя Волконская вышла замуж за маркиза Владимира Кампанари; ей принадлежит «вилла Волконская». С переменой хозяина «вилла Волконская» не утратила своего имени. Все, близкие и дальние, стекались к креслу Елены Сергеевны, с которого она, в белом праздничном платье, в белом, ей одной свойственном кокошнике, принимала поздравления и расточала ласку своего привета в темных, еще блестящих глазах и левою, единственною своею рукой, редко прекрасною рукой….

В декабре 1909 года, под Рождество, умер мой отец, в доме, который на площади Trinita dei Monti в самом углу. Около этого места мы часто жили. Тут охотно селились и другие русские; это был русский уголок в Риме; мой брат Саша прозвал это «Калуга». И сейчас они там живут. Жена моего брата держит пансион, и все родственники у нее столуются — уголок русских беженцев. Брат мой застрял в Риме в качестве бывшего военного агента. Жена его оставалась в Москве, пережила октябрьские дни и с детьми переехала на Кавказ. Там перетерпели и холод, и голод, и разорение, и нашествие «единоплеменников», и бегство; и в горах скрывались, и по Сочи босиком ходили, — когда вдруг разыскал их капитан английского парохода, передал каждому от имени брата именной пакет, в котором было белье, мыло, щетки и пр. Забрал их английский капитан, перестрадавшихся, изнуренных малярией, и доставил в Италию…

Так проходит Рим через нашу семью.

Умерли в Риме и в Риме похоронены:

Княгиня Зинаида Александровна Волконская — в церкви Св. Викентия и Анастасии у фонтана Треви, в 1852 году.

Там же похоронен муж ее, брат моего деда-декабриста, князь Никита Григорьевич Волконский, умерший в Ассизи в 1845 году.

Сын их, двоюродный брат моего отца, князь Александр Никитич Волконский — в 1878 году; похоронен на кладбище Кампо Верано.

Мать моей бабушки, княгини Марии Николаевны, жены декабриста, Софья Алексеевна Раевская — в 1844 году; похоронена на кладбище Тэстачо.

Дочь, ее, сестра моей бабушки, Елена Николаевна Раевская, умерла под Римом в Фраскати в 1852 году, похоронена там же в соборной церкви.

Умерли в Риме и похоронены в Фалле:

Моя бабушка с материнской стороны, княгиня Мария Александровна Волконская, рожденная графиня Бенкендорф, — в 1909 году.

Мой отец, князь Михаил Сергеевич Волконский, — в 1909 году.

Мои двоюродные братья, князья Александр и Петр Петровичи, — в 1870 и 1872 году.

Рим осенял четыре поколения нашей семьи, осеняет теперь пятое.

Окидывая взором эти поколения одной семьи, невольно поражаешься, как много они путешествовали. Дух странствия, как рок какой-то, иногда в виде явной необходимости, иногда в виде внутреннего влечения, управляет жизнью их. Мой дед-декабрист, середину жизни проведший в Сибири, в последние годы изъездил ту самую Европу, которую в юности исходил от одного поля сражения к другому. Его сестра, Софья Григорьевна, побывала от Лондона до Оренбурга и от Кяхты до Неаполя. Мой отец не был в такой степени заражен «охотой к перемене мест», но и он, родившийся в Сибири, в молодости побывавший на Камчатке, кончил дни свои в Риме. А сама жизнь его разве не странствие? Какое странствие его послужной список. Сын каторжника, записанный при рождении в заводские крестьяне, он кончает обер-гофмейстером, членом Государственного совета. Мой брат Григорий, двадцать лет боровшийся с чахоткой, был на Мадере, на Тенерифе, на мысе Доброй Надежды, в Оранжевой республике. А мой брат Александр, с экстренными посольствами когда-то побывавший в Тегеране и в Пекине, а сейчас из Рима протягивающий руку помощи жене и детям на Кавказ… Положим, кто теперь в России, кто не мечтает о странствии; но думаю, что я так сравнительно легко переношу гнет того, что на меня обрушилось, благодаря природной склонности к переменам, — результат того кочевья, что жило в предыдущих поколениях.

Не странно ли, что при таком сильном разнообразии типов семейное сходство сказалось именно в этой черте, в склонности к путешествию, к уединению, к обособлению. Ведь странствие есть одна из форм самоутверждения, это есть в известной степени протест личности против рода. И не странно ли, что именно общностью этого пристрастья отмечается родовая принадлежность. И как странно это тяготение к Риму. Впрочем, известно, что «все пути ведут в Рим». Это не странно, как не странно и то, что последняя глава моих «Странствий» озаглавлена «Рим».

На этом кончаю вторую часть своих воспоминаний. Кончаю вторую часть, но странствия разве прекращаются? И в «Родине»

будут странствия, как будут и лавры. Да и вся наша жизнь разве не странствие? Не одно пространство мы странствием покрываем; и прохождение наше от рождения к смерти то же странствие, лишь во времени. «Время и пространство и все заключимое в них, — сказал один китайский мудрец, — вот все, что именуется природой». И мы не можем высвободиться из времени и пространства, пока живем на этой земле. Пусть спорят философы о том, существуют ли они реально или только в качестве «категорий нашего мышления», — что толку? Все всегда должно ответить на два вопроса: когда? где? И все остальное, что только может нас интересовать на земле, что отвечает на другие вопросы: кто, что, как, почему? — все это заключается в пространстве и времени и должно ответить на вопросы: когда? где? И вот почему, хотя и кончили мы наши «странствия», однако продолжаем путешествовать. Куда же направимся? В какое «где»? В какое «когда»?

В какое «где»? На родину.

В какое «когда»? В детство.

1923

notes

Примечания

1

Уже по окончании настоящего очерка мне пришлось познакомиться со статьями г. В.Соколова («Богословский вестник», март, май, ноябрь 1894), интересными по обилию сопоставленного материала.

2

Тот единичный случай перехода одного христианина в буддизм, на который ссылаются недоброжелатели конгресса (указывает на него и господин Соколов в вышеупомянутой статье), опять-таки не может быть выставляем как пример ущерба, нанесенного христианству. Он лишь доказывает, что до своего гласного перехода в буддизм это лицо было христианином по имени; численность христианской семьи от его «формального» отпадения не уменьшилась, как не увеличивала ее его «официальная» к ней принадлежность.

3

Перечитывая эти строки теперь, через двадцать восемь лет после того, как они были написаны, должен прибавить, что это была первая моя робкая попытка печатно прикоснуться к вопросам свободы вероисповедания. Впоследствии я к ним подошел подробнее и смелее; но тогда у нас в России о них писать было почти невозможно, и наблюдение за американскими условиями давало удобную «ширму». Однако и эта скромная моя попытка вызвала неодобрения и нарекания; сильно ополчился в своей газете «Гражданин» известный представитель «охранительного» направления князь Мещерский. О том, как стояли эти вопросы в тогдашней России, как к ним относилось общественное мнение и представители государственности, говорю подробно в главах IV, V, VII и VIII следующей части моих воспоминаний («Родина»).

4

Небезынтересно и даже поучительно в смысле сопоставления фактов, что, в то время как американская дама удивлялась тому, что слышала от русского «американские» идеи, русский публицист, разбирая один из моих докладов, нашел, что он представляет пример мировоззрения исключительно русского и исключительно православного (Ю.Н. «По поводу речи кн. С.Волконского». — «Московские ведомости», № 289, 1893).